

ВОЖДЕ

ЛЕНИН,
КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ

<i>М.Штейн</i>	<i>Г.Уэллс</i>
<i>Н.Валентинов</i>	<i>А.Андреев</i>
<i>И.Сталин</i>	<i>В.Ерофеев</i>
<i>В.Чернов</i>	<i>В.Солоухин</i>
<i>М.Горький</i>	<i>Д.Штурман</i>
<i>А.Куприн</i>	<i>В.Еременко</i>
<i>Б.Рассел</i>	<i>А.Авторханов</i>

и другие ...

Представление министра внутренних дел Льва Перовского императору Николаю I записки крещеного еврея Бланка о мерах побуждения евреев к переходу евреев из иудейской веры в христианскую

«Из Комиссии прошений препровождена ко мне, присланная на Высочайшее имя, записка проживающего в Житомире крещеного 90-летнего еврея Д. Бланка, коего два сына получили лекарское звание, один умер, а другой состоит и поныне штаб-лекарем на службе. Старец этот, ревнуя к христианству, излагает некоторые меры, могущие, по его мнению, служить побуждением к обращению Евреев.

Предложения Бланка состоят в том, чтобы запретить Евреям ежедневную молитву о пришествии Мессии и повелеть молиться за Государя Императора и весь августейший дом его. Запретить Евреям продавать христианам те съестные припасы, которые не могут быть употребляемы самими Евреями в пищу, как, например, квашеный хлеб во время пасхи и задние части битой скотины, запретить также христианам работать для Евреев в субботние дни, когда сии последние, по закону своему, работать не могут.

12 октября 1846 г.

Лев Перовский.

№ 237».

На представлении (докладе) Перовского имеется резолюция: «Высочайше повелено препроводить в Комитет о еврейских делах.

26 октября 1846 г. В Царском селе»*.

Н. Валентинов * *

ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

В Женеве я сошел с поезда, не имея никакого багажа, кроме зубной щетки, куска мыла, полотенца и зашитого в полу пальто письма Кржижановского к Ленину. Я хорошо помнил маршрут, начертанный Кржижановским. «Выйдя с вокзала, идите прямо по rue de Mont-Blanc, первая улица налево будет route de Lau-

* ЦГИА СССР, фонд Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел (фонд № 821), 1846, оп. 11, ед. хр. 21, л. 161.

** Н. Валентинов — псевдоним Николая Владиславовича Рольского (р. 1879 г.).

сanne, берите ее, в конце упретесь в rue du Fouet, в № 10, там и живет monsieur Ульянов, т. е. Ленин».

< . . . >

Через несколько минут мы были у Ленина. Я увидел крепко сложенного человека, небольшого роста, лысого, с редкой темно-рыжей бородкой и такими же усами. Самым внимательным образом вглядываясь в фотографии Ленина, появившиеся после 1917 г., с трудом поверил бы, что это тот самый человек, которого впервые увидел 5 января 1904 г. Подавляющая часть этих фотографий просто лжива. Особенно же фальшива одна распространенная, канонизированная, на которой Ленин представлен в виде какого-то гордого, красивого bruneta. Приходилось позднее много раз слышать и читать о ярко выраженном монгольско-татарском обличье Ленина. Это неоспоримо, однако при первой встрече, да и всех последующих, я на «антропологию» Ленина не обратил и не обращал никакого внимания. Его лицо казалось совершенно таким же, как у множества других русских, особенно в районе средней и нижней Волги. Пожалуй, немного косят глаза, да и то не оба, а скорее только правый. Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые. Но в глазах остро светился ум, и лицо было очень подвижно, часто меняя выражение: настороженная внимательность, раздумье, насмешка, колющее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза — грубое сравнение — злого кабана.

В первые же минуты визита к Ленину я познакомился с одним только ему принадлежащим жестом. Говоря или споря, Ленин как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запуская большие пальцы за борт жилета около подмышек и держа руки сжатыми в кулаки. Прихлопывая правой ногой, он делал затем небольшой, быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцы за бортами жилетки, распускал кулаки, так что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбы плавники. В публичных выступлениях такая жестикация имела место сравнительно редко. При разговорах же, особенно если Ленин вдалбливал своим слушателям какую-нибудь мысль, а в каждый данный момент он всегда бил сло-

вом только в одну мысль, эта жестикуляция, этот шаг вперед и шаг назад, игра сжатым и разжатым кулаком — происходили постоянно. Постоянно попадая в поле зрения собеседников, ленинская жестикуляция настолько их заражала, что некоторые из них, например, Краси́ков и Гусев, тоже начинали запускать пальцы за жилетку. Ленин гипнотизировал и этим...

Я пришел к Ленину во втором часу дня, и лишь в восьмом часу он отвел меня в отель на *Plaine de Plain palais*, оплачиваемое партией обиталище, где останавливались приезжие из России люди, главным образом, будущие советские сановники, сторонники Ленина. Кроме Краси́кова, там жили В. В. Воровский, будущий посол СССР в Скандинавии, потом в Италии, Гусев (Драпки́н), будущий член Военно-Революционного Совета, начальник Политического Управления Республики, секретарь ЦКК, заведующий отделом печати Центрального Комитета Коммунистической партии и др. Так как все приезжающие из России, замечая следы, должны были жить в Женеве под выдуманными именами, Ленин, узнав, что голодовка в тюрьме подкосила мою силу, применительно к тому факту изобрел для меня кличку.

— Библейский Самсон потерял силу, когда остригли его волосы, — сказал он, — у вас силу и мускулы остригла голодовка, по аналогии даю вам имя — «Самсонов».

Под этой фамилией я и был представлен обитателям отеля и ровно год прожил в Женеве.

Шесть часов, проведенных у Ленина, были делом совсем не легким. Крупская, распоров полу моего пальто, извлекла оттуда письмо Кржижановского, проявила его (часть была написана симпатическими чернилами) и сообщила его содержание Ленину. По отдельным фразам, которыми они обменялись, я понял, что кроме сообщения о партийных делах, аресте недавно поселившегося в Киеве брата Ленина и двух его сестер, была просьба «обратить на посланного внимание». И Ленин его «обратил». На меня буквально обрушился целый каскад вопросов. Ленин находился тогда в очень подавленном состоянии. Два месяца до этого, первого ноября 1903 г., он увидел себя вынужденным уйти с редакторского поста столь любимой им «Искры». Для него это была настоящая трагедия, не-

переносимое ущемление самолюбия. Он был как бы свержен, потерял силу, остался не у дел. Все именитые верхи партии в Женеве были «меньшевиками». Около него лишь небольшой кружок поддерживающих его лиц. В Центральном Комитете в России его единомышленники, выбранные на съезде партии, вместо того чтобы вести непримиримую борьбу с меньшевиками, как того требовал Ленин, стали склоняться к «примиренчеству». Ленин буквально накидывался на всякого приезжающего из России человека, стремясь с присущей ему страстью сделать его своим сторонником, узнать, что о партийных разногласиях говорят в России. Еле успевал я ответить на один вопрос, появлялся другой, третий и так без счета. Я сказал Ленину — это ему очень понравилось, — что он меня гоняет, как на конских заводах гоняют на корде молодых лошадей. Заметив мою крайнюю усталость, Ленин наконец расспросы прекратил. Нетрудно было заметить, что произведенное «испытание» я выдержал как будто удовлетворительно. Я это мог заключить из того, что для продолжения беседы Ленин пригласил меня прийти к нему через два дня, потом еще через два дня.

< . . . >

Хорошим способом узнать побольше о Ленине мне казался разговор о художественной литературе. Какие произведения он любил, какие люди ему в них интересны, что в них нравится или не нравится? Я сказал об этом В. В. Воровскому — в отделе его комната была рядом со мною; до отъезда в Россию он часто со мною вел разговор на самые разнообразные темы. С ним можно было говорить о многом: о дифференциалах, интегралах, механике и художественной литературе. Воровский улыбнулся.

— Поисследовать Ленина хотите, ну что же — попробуйте. Он всех нас исследует, займемся и мы им. Я тоже этим делом занимался. Но предупреждаю — Ильич очень часто любит делать «глухое ухо». Я хотел однажды узнать — читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил, все же понял, что никого из них он не читал и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел. Изучая в Сибири немецкий язык, он прочитал в подлиннике «Фауста» Гете, даже выучил наизусть несколько

тирад Мефистофеля. Вы здесь недавно, поживете подольше — непременно услышите, как в полемике с кем-нибудь Ленин пустит стрелу:

Ich salutiere den gelehrten Herrn
Irr habt mich weidlich Schwitzen machen.—

Но, кроме «Фауста», ни одну другую вещь Гете не знает, он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различии — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал. «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание», он «Бесы» и «Братьев Карамазовых» читать не пожелал. «Содержание сих обоих пахучих произведений,— заявил он,— мне известно, для меня этого предостаточно». «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна — что она мне может дать?»

После того, что услышал от Воровского, желание «поисследовать» Ленина с помощью его отзывов о художественной литературе не уменьшилось, а скорее увеличилось. Как к этому приступить? Ведь было бы смешно ни с того ни с другого спрашивать: Владимир Ильич, сочинения какого автора и почему вы больше всего любите? То, что я мог в этой области получить, могло бы быть только случайным и при случайно возникшем разговоре. Так, случайно я узнал, что Ленин любит «Войну и мир» Толстого, а морально-философские размышления, которые вклеены в роман, считает глупостью. Это ничего не давало. Я не встречал еще ни одного русского человека, заявившего, что он не ценит и не любит это произведение.

Мимолетный разговор было о романах Гончарова. «Обрыв» Ленин совсем не ценил. Главного героя романа Райского назвал «никчемным болтуном» и другим, уже непечатным словом, а в поднадзорном Марке Волохове видел «скверную карикатуру на революционе-

ров». Отношение к «Обломову» Гончарова у него было иным и весьма оригинальным.

— Я бы взял не кое-кого, а даже многих из наших партийных товарищей, запер бы их на ключ, в комнате и заставил читать «Обломова». Прочитали? А ну-ка еще раз. Прочитали? А ну-ка еще раз. А когда взмолятся, больше, мол, не можем, тогда следует приступить к допросу: а поняли ли вы, в чем суть обломовщины? Почувствовали ли, что она и в вас сидит? Решили ли твердо от этой болезни избавиться?

Случайно узнал, что в гимназии Ленин написал сочинение на тему «Пророк» Пушкина, однако разговор о том был прерван и больше не возобновлялся. Лишь позднее мне стало известно, что в Симбирской гимназии, где учился Ленин, литературу преподавал Ф. М. Керенский — отец Александра Федоровича Керенского*. Это он многим своим ученикам, в том числе и Ленину, внушил великое почтение и любовь к Пушкину. Немилосердно ругая сына Керенского и очень хорошо отзываясь о Керенском-отце, Ленин рассказывал об этом П. А. Красикову, а разговор о том возник по следующему поводу. В 1921 г. (или 1920-м — не могу точно сказать) Ленин посетил Вхутемас — Высшее художественное училище в Москве. Если не ошибаюсь, в какой-то заметке есть о том и у Крупской. На вопрос Ленина, что читает сейчас молодежь, любит ли она, например, Пушкина, — студенты и студентки Вхутемаса почти единогласно ответили, что Пушкин «устарел», они его не признают, он «буржуй», представитель «паразитического феодализма», им никто теперь не может увлекаться и все они стоят за Маяковского — он революционер, а как поэт намного выше Пушкина*. Ленин

* Когда Ленин писал сочинение о «Пророке» Пушкина, — сыну директора гимназии Керенского было только шесть лет. Через тридцать лет эти два уроженца Симбирска, города, по выражению Гончарова (тоже уроженца Симбирска!), погруженного в непробудный сон, «в оцепенение покоя», в своего рода «штиль на суше», предстали на фоне величайшей, потрясшей Россию, социальной бури, бешеного урагана, встав в центре не только всероссийского, а мирового внимания. Борьба этих двух русских людей из Симбирска — по своему смыслу, значению и последствиям — вышла далеко из русских границ.

слушал это, пожимая плечами. Стихи Маяковского он совершенно не переносил. После посещения Вхутемаса, беседуя с Красиковым, Ленин говорил:

— Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания — штукачество, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению, революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны,— пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже.

— Я передаю,— рассказывал мне Красиков,— подлинные слова Ленина. Можете их записать. Давайте сделаем большое удовольствие Ильичу — трахнем по Маяковскому. Так статью и озаглавим: «Пушкин или Маяковский?». Нужны ли революции шуты гороховые? Конечно, на нас накинута, а мы скажем: обратитесь к товарищу Ленину, он от своих слов не откажется.

Статья не была написана, но, оставляя в стороне вопрос о нашей компетентности в этой области, она могла быть напечатанной, тогда как теперь, когда Сталин изрек, что «Маяковский был и остается талантливейшим поэтом советской эпохи», «Правда» (№ 12, авг., 1951 г.), как всегда, лживо заявила, что «многие стихи Маяковского написаны под непосредственным впечатлением выступлений тов. Сталина», — всякая критика сего поэта стала невозможной — ее приказано считать «клеветой классового врага».

Более основательным был у меня разговор с Лениным о Некрасове. Ленин его превосходно знал и, конечно, любил. Ничего удивительного в том нет. На иконостасе нескольких революционных поколений Некрасов неизменно и по праву занимал место любимой иконы. Если что мне и показалось странноватым, так это

* По словам Ю. П. Денике (журнал «На рубеже»), в СССР издано, главным образом за позднейшие годы, более сорока миллионов экземпляров Пушкина, в том числе около пяти миллионов на других языках, кроме русского. Маятник с 1920 г. качнулся в противоположную сторону: от отрицания «буржуя» Пушкина, от признания его «устарелым» — к глубочайшему преклонению перед ним. Это хороший показатель и общественного выздоровления, и роста культуры.

почти нежное сочувствие Ленина крестьянофильским пассажам в стихотворениях Некрасова и особенно в «Кому на Руси жить хорошо». В моих глазах это плохо увязывалось с марксистской любовью Ленина к пролетариату — ведь обычно его мыслили как антипода крестьянства. Говоря о Некрасове, я заметил (знаю теперь — ошибочно), что, хотя он много писал о деревне, — у него нет особо хороших описаний природы.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! — воскликнул Ленин. — А ну-ка попробуйте найти лучшее, чем у Некрасова, описание ранней весны. — И, картавя, катая «р», он продекламировал:

Идет, гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний Шум,
Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят.
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березынька
С зеленою косою.

Ленин после этого два раза, точно вталкивая в меня, чтобы я это понял, повторил:

И липа бледнолистая,
И белая березынька
С зеленою косою.

— А вы любите липу? — спросил я.

— Это самое, самое любимое мною дерево!

С большим жаром продекламированный «Зеленый Шум» и то, что мимоходом уже приходилось слышать от него, — мне показали, что Ленин действительно любит природу, хотя об этом нельзя предположить, судя, например, по тем невероятно, до дикости грубым строкам, которые изредка он посвящал искусству и литературе. «Поэтическая» любовь к природе у человека столь мало поэтического, как Ленин, конечно, вызвала у меня удивление, а через несколько дней мне пришлось испытать и другое удивление.

Некая дама приехала в Женеву с специальной целью познакомиться с Лениным. У нее от Калмыко-

вой (*persona grata*, дававшая в 1901—1903 гг. деньги на «Искру») было письмо к Ленину. Имея его, она была уверена, что будет им принята с должным вниманием и почтением. После свидания дама жаловалась всем, что Ленин принял ее с «невероятной грубостью», почти «выгнал» ее. Гусев передал об ее сетованиях Ленину, и тот пришел в величайшее раздражение:

— Эта дура сидела у меня два часа, отняла меня от работы, своими расспросами и разговорами довела до головной боли. И она еще жалуется. Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать. Ухажерством я занимался, когда был гимназистом, на это теперь нет ни времени, ни охоты. И за кем ухаживать? Эта дура — подлинный двойник Матрены Семеновны, а с Матреной Семеновной я никаких дел иметь не желаю.

— Какая Матрена Семеновна? — с недоумением спросил Гусев.

— Матрена Семеновна Суханчикова из «Дыма» Тургенева. Стыдно не знать Тургенева.

С этого дня, к величайшему моему удивлению и особому удовольствию (Тургенева я очень любил), я узнал, что Ленин великолепно знает Тургенева, намного лучше меня. Он помнил и главные его романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым «Стихотворения в прозе». Он, очевидно, читал Тургенева очень часто и усердно, и некоторые слова, выражения Тургенева, например, из «Нови», «Рудина», «Дыма», ввелись в его лексикон. Кроме Воровского и меня, этого никто не замечал. Так, по поводу самоубийства в Сибири Федосеева он сказал: «Однако Федосеев не был барчуком и хлюпиком вроде Нежданова» (персонаж из «Нови»). Другой раз от Ленина можно было услышать: «Это не человек, а китайский болванчик, слова, слова, а дел нет» (лишь немножко измененная фраза из «Рудина»). Он очень часто пользовался ненавистным ему образом Ворошилова из романа «Дым» Тургенева. Представление о нем у Ленина обычно сопровождалось накатом жгучего презрения. Обозвать кого-нибудь из пишущей братии Ворошиловым он считал одним из сильнейших оскорблений, и из произведений Ленина мы знаем, что таким эпитетом немилосердно злоупотреблял. Например, в статье «Аграрный вопрос и критика Маркса», напечатанной в «Заре» (№ 2—3, 1901 г.), полемизируя с В. М. Черновым, Ле-

нин 14 раз именует его Ворошиловым, делая к этому добавления вроде: «Ворошилов извращает», «Ворошилов безбожно путает», «Ворошилов хвастается», «За Ворошиловым не угнаться» и т. д. Явно наслаждаясь, что нашел наименование достаточно ругательное, он в той же статье называет Ворошиловым проф. С. Н. Булгакова (за большую работу последнего «Капитализм и земледелие»), австрийского социалиста Герца, писавшего на ту же тему, сотрудников журнала «Sozialistische Monatshefte», чтобы, в конце концов, заявить, что Ворошиловы, «критикующие взгляды Маркса на аграрный вопрос» — «везде одинаковы: и в России, и в Австрии».

К бежавшему в 1902 г. из ссылки молодому Троцкому Ленин одно время относился с большим благоволением, но после съезда Троцкий оказался в рядах меньшевиков, и Ленин иначе как Ворошиловым его уже не называл, причем для большого клеймения к Ворошилову присоединил эпитет «Балалайкин» (Щедрина). Помню — 1 мая 1904 г. в Женеве Троцкий на митинге эмигрантов произнес излишне цветистую, все же эффектную речь. Когда я передал Ленину мое впечатление об этом выступлении, в глазах его пробежал насмешливый огонек: «С печалью констатирую — вам нравятся речи Ворошиловых-Балалайкиных».

— Но вы не можете отрицать, что Троцкий превосходный оратор?

— Все Ворошиловы-Балалайкины — ораторы. В эту категорию входят недоучившиеся краснобаи-семинаристы, болтающие о марксизме приват-доценты и паскудничающие адвокаты. У Троцкого есть частицы от всех этих категорий.

Через полтора месяца в категорию Ворошиловых попаду и я!

Если мотивы влечения Ленина к некоторым произведениям Тургенева («будучи в гимназии, — сказал он мне, — я очень любил «Дворянское гнездо») приходится узнавать лишь с помощью догадок, различных сопоставлений и сближений с различными его высказываниями, есть одна вещь Тургенева, в которой можно уже точно указать, какие в ней мысли им особенно ценились. Имею в виду рассказ «Колосов», а касаясь его, мы неизбежно придем к весьма интимной стороне жизни Ленина.

В этот период, когда ко мне «благоволила» и Крупская, она часто рассказывала о разных фактах из его жизни. Лишь после одного происшествия, о нем я скажу позднее, она стала весьма осторожной или, употребляя выражение из ее «Воспоминаний», «скупой» в своих рассказах. Я узнал от нее, что, будучи в ссылке в Сибири, Ленин, желая возможно скорее и лучше овладеть немецким языком, решил переводить с русского на немецкий и обратно произведения авторов, которых он знал и любил. В 1898 г. в качестве приложения к журналу «Нива» было издано полное собрание сочинений Тургенева. Ленин именно потому, что еще со времен юности любил Тургенева, попросил родных прислать ему это собрание вместе с немецким словарем, грамматикой и существующими переводами на немецкий язык произведений Тургенева.

«Мы, — рассказывала Крупская, — иногда по целым часам занимались переводами... Ильич выбирал у Тургенева страницы, по тем или иным причинам наиболее для него интересные. Так, с большим удовольствием Ильич переводил ехидные речи Потугина в романе «Дым»*. По настоянию Ильича, особенно тщательно мы перевели некоторые страницы из рассказа «Колосов». На эту вещь он обратил большое внимание еще в гимназии и крайне ценил ее. По его мнению, Тургеневу в нескольких строках удалось дать самую правильную формулировку, как надо понимать то, что напы-

* Выражение «ехидные речи» Потугина слишком мягко! Ведь Потугин доказывал, что Россия ничего не дала мировой цивилизации и культуре, что «даже самовар, лапти, дуга — эти наши знаменитые продукты, — не нами выдуманы» Он высмеивал русскую науку: «...у нас, мол, дважды два тоже четыре, да выходит как-то бойчее». Ныне в Кремле объявлено, что все мировые открытия и изобретения сделаны в СССР — России, она венец мировой культуры, поэтому Потугина за «подлое», «изменническое, космополитическое преклонение перед Западом», наверное, посадили бы в концлагерь или прикончили бы в подвале МГБ. Роман «Дым», насколько мне известно, не перепечатывается в СССР, так же как, но уже по другим причинам (оскорбление революции), тургеневский роман «Новь». Речи Потугина в «Дыме» представляют в русской литературе крайнее, искривленное, перегнутое проявление западничества. Это по поводу «Дыма» Достоевский злобно писал, что Тургеневу (Кармазинову в «Бесах») водосточные трубы в Карлсруэ дороже всех вопросов России. Очевидно, Ленин в Сибири был охвачен «низкопоклонством» перед Западом — раз «с большим удовольствием переводил ехидные речи Потугина»!

ценно называют «святостью» любви. Он много раз мне говорил, что его взгляд на этот вопрос целиком совпадает с тем, что Тургенев привел в «Колосове». Это, говорил он, настоящий революционный, а не пошло-буржуазный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины».

Весьма заинтересованный тем, как же Ленин смотрит на «святость любви», я, конечно, отыскал «Колосова» и вновь прочитал его. Рассказ слабый, бесцветный, не я один, а обычно все проходят мимо него. Ничего из него не западает, ничто в нем не останавливает. Странно, думал я, как могла такая вещица «крайне цениться» Лениным! В Женеве я мог этим удивлением ограничиться и о том, что говорила Крупская, позабыть. Но в свете того, что с Лениным позднее случилось, о «Колосове» нужно поговорить подробнее.

Лицо, от имени которого ведется рассказ, называет Колосова человеком «необыкновенным». Он полюбил девушку, потом разлюбил ее и от нее ушел. Помилуйте, что же тут необыкновенного? Это ежедневно и ежедневно всюду случается. Необыкновенно то, отвечает рассказчик, что Колосов это сделал смело, порывая со своим прошлым, не боясь упреков.

«Кто из нас умел вовремя расстаться со своим прошлым? Кто, скажите, кто не боится упреков, не говорю — упреков женщины, упреков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим преданным сердцем? Наконец, кто из нас в силах противиться мелкому самолюбию, мелким хорошим чувствам: сожалению и раскаянию? О, господа, человек, который расстается с женщиной, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не все, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости, продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец. Мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может называться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным — значит быть необыкновенным».

В этих словах квинтэссенция рассказа Тургенева. Является ли поведение Колосова «революционным» или «пошло-буржуазным», в это входить, конечно, не буду. Важно, что рассуждения Колосова Ленин одобрял, именно таков, по словам Крупской, был его взгляд на вопрос. Близкие отношения мужчины и женщины должны быть основаны на безраздельной, полной любви и искренности. Как только человек чувствует и знает, что его сердце уже «не вполне» проникнуто женщиной, еще недавно им любимой, не боясь упреков, не поддаваясь «мелким чувствам» (Ленин очень часто употреблял эти слова), он должен с нею расстаться. Этого требует «святость любви», так поступать — значит «быть естественным».

Многие страницы жизни Ленина, в частности в бытность его гимназистом, остались для всех его биографов неизвестными. Они не выплыли ни в одном из воспоминаний о нем: канонизация Ленина не допускала появления каких-либо сообщений вне тех, которыми очерчен его, установленный верхами, партийный образ вождя. Опираясь на фразу, брошенную Лениным Гусеву — «ухажерством я занимался, когда был в гимназии», — можно предположить, что экспансивный, бурливый юноша, каким был Владимир Ульянов, этим делом действительно занимался (я это плохо себе представляю!). В садах на берегу Волги или в Киндяковском лесу, описанном в романе «Обрыв» — и бывшем местом свидания влюбленных парочек, ему, допустим, случалось объясняться в любви каким-нибудь гимназисткам, а потом эта «любовь» ему надоедала и без долгих фраз он расставался с предметом своего увлечения. Тургеневский Колосов с его «ясным и простым взглядом на жизнь» мог служить примером. И так как отсутствие клятв в вечной любви, «отсутствие всякой фразы в молодом человеке» в этом возрасте — вещь необыкновенная, Владимир Ульянов мог считать себя уже тогда человеком тоже необыкновенным. О «необыкновенности» тут, конечно, смешно и говорить. Здесь только малюсенькая и легкомысленная «философия», свойственная сотням тысяч или миллионам юношей.

Юным и весьма серьезным делается воззрение Колосова в зрелом возрасте. Раз Ленин прожил с Крупской без малого тридцать лет (они познакомились в

1894 г.) и все время придерживался кодекса Колосова — значит, его сердце всю жизнь было проникнуто любовью к ней одной. Будь иначе, во имя проповедуемой им «святости любви», не боясь упреков «глупцов», не поддаваясь «мелким чувствам» (среди них — **раскаянию и сожалению**), он смело расстался бы со своим прошлым, покинул бы Крупскую, хотя в течение многих и многих лет она была вернейшей и преданной спутницей его жизни. Так должен бы я заключить, слушая в 1904 г. Крупскую, но то, что произошло с Лениным позднее, свидетельствует о полном поправании им кодекса Колосова.

Жизнь больших исторических фигур — а кто будет отрицать, что Ленин вошел в большую историю? — всегда интересует людей. Все хотят знать (биографы спешат на это ответить) не только, чем облагодетельствовал мир, например, Наполеон или сколько сотен тысяч людей он отправил на тот свет, но кем он был, как жил, что любил, как любил. Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь перед глазами полный, не вымысленный образ человека, «сделавшего историю». С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandiniere книга «Les amours secretes de Lenine», написанная двумя авторами — французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 г. в газете «Intransigeant». За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интимные отношения с некоей Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина к этой К. Даже самый поверхностный анализ названного произведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви — отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной. Это очень интимная область, о ней было как-то неловко писать, но теперь, когда имя этой «другой женщины» названо полностью в печати (со слов А. М. Коллонтай, ее называет г. Марсель Боди в апрельском номере 1952 г. журнала «Preuves»), — ничто уже не мешает подробно рассказать об этом происшествии в жизни Ленина, никог-

да не бывшем секретом для его старых товарищей (Зиновьева, Каменева, Рыкова). Ленин был глубоко увлечен, скажем — влюблен, в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по-своему, т. е., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм.

Инесса Арманд родилась в 1879 г. в Париже, ее родители французы, отец артист, избравший псевдонимом имя Стеффен. После смерти родителей Инесса осталась бесприютным ребенком и была взята на попечение своей тетки, бывшей гувернанткой в семье Евгения Арманд, имевшего фабрику шерстяных изделий в Пушкино, в 30 километрах от Москвы. Инесса воспитывалась вместе с А. Е. Армандом — сыном фабриканта и за него потом вышла замуж (от этого брака трое детей). На путь революционной деятельности Инессу, по-видимому, толкнул старший брат ее мужа — Борис Евгеньевич, еще в 1897 г. привлекавшийся полицией за хранение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Но этот сын фабриканта, агитировавший рабочих против своего отца, постепенно «отрезвляется» и от революции отходит; наоборот, Инесса все более и более страстно ей предается. В качестве агитаторши и пропагандистки она выступает сначала в Пушкино, потом в Москве. Те, кому приходилось ее видеть в Москве в 1906 г., надолго запомнили ее несколько странное, нервное, как будто асимметричное лицо, очень волевое, с большими гипнотизирующими глазами. Ее арестовывают в первый раз в 1905 г., потом в 1907 г. и отправляют на два года в ссылку в Архангельскую губернию, не дождавшись двух месяцев до окончания срока, она скрывается за границу, в Брюссель, где слушает лекции в университете. Несмотря на ее разрыв с мужем, происшедший, кажется, без всяких драм, семья Арманд ее снабжает средствами. Все время своей эмиграции, т. е. до 1917 г., в деньгах она не нуждается. В 1910 г. она приезжает в Париж, и здесь происходит ее знакомство с Лениным. В кафе на avenue d'Orleans его часто видят в ее обществе. В 1911—1912 гг. внимание, которым ее окружает Ленин, все время растет. Оно бросается в глаза даже такому малонаблюдательному человеку, как французский социалист-большевик Шарль Рапопорт: «Ленин,—

рассказывал он,—не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки» («avec ses petits yeux mongols il levait cette petite française»). Наружность Инессы, ее интеллектуальное развитие, характер делали из нее фигуру, бесспорно, более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе — пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность.

— Ты,— писал он ей 15 июля 1914 г.,— из числа тех людей, которые развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту.

Он восхищался ее знанием иностранных языков; в этом отношении она была для него незаменимым помощником на международных конференциях в Кантале и Циммервальде в 1915 г. и на первом и втором Конгрессе Коминтерна в 1919-м и 1920 гг. Он доверял и ее знанию марксизма: в 1911 г. в партийной школе в Longjumeau (около Парижа) поручил ей вести дополнительные, семинарские занятия с лицами, слушающими его лекции по политической экономии. Наконец, Инесса была превосходная музыкантша, она часто играла Ленину «Sonate Pathetique» Бетховена, а для него это голос Сирены. «Десять, двадцать, сорок раз могу слушать Sonate Pathetique, и каждый раз она меня захватывает и восхищает все более и более»,— говорил Ленин.

После смерти Ленина Политбюро вынесло постановление, требующее от партийцев, имеющих письма, записки, обращения к ним Ленина, передать их в архив Центрального Комитета, что с 1928 г. фактически было передачей в полное распоряжение Сталина. Этим путем, нужно думать, попали в архив и письма Ленина к Инессе. В отличие от писем, обращенных к другим лицам, почти всех напечатанных еще до 1930 г., письма Ленина к Инессе — за исключением трех напечатанных в 1939 г. — начали появляться в «Большевике» лишь в 1949 г., т. е. 25 лет после смерти Ленина. Ряд понятных соображений («разоблачение интимной жизни Ильича») препятствовало их появлению. Только в 1951 г. — 27 лет после смерти Ленина — в 35 томе четвертого издания его сочинений опубликованы (конечно, не все, а с осторожным выбором!) некоторые письма, свидетельствующие, что отношения Ленина с Инессой

были столь близкими, что он обращался к ней на ты. Из писем можно установить, что это интимное сближение произошло осенью 1913 г. Инесса тогда только что бежала из России, куда поехала с важными поручениями Ленина и попала в тюрьму. Ленин и Крупская жили в это время в Кракове. В своих «Воспоминаниях» Крупская пишет: «Осенью 1913 г. мы все очень сблизились с Инессой. У нее (после сидения в тюрьме) появились признаки туберкулеза, но энергия не убавилась. У нее много было какой-то жизнерадостности и горячности. Уютнее и веселее становилось, когда приходила Инесса. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Ходили на край города, на луг (луг по-польски — блонь). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блони-на. Инесса была хорошая музыкантша. Очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил *Sonate Pathetique* и просил ее постоянно играть...»



Знала ли Крупская об отношениях между Лениным и Инессой? Не могла не знать, трудно было не заметить. Со слов той же Коллонтай (она хорошо знала Инессу и с нею переписывалась), Марсель Боди сообщает, что Крупская хотела «отстраниться», но Ленин не шел, не мог идти на такой разрыв. «Оставайся», — просил он. С точки зрения кодекса Колосова, здесь все данные, чтобы расстаться с прошлым, не бояться упреков, не поддаваться мелким чувствам — раскаянию и сожалению. Но Ленин не хотел расстаться с прошлым, он любил Крупскую и вместе с тем Инессу — налицо два параллельных чувства. Жизнь оказалась не влезающей ни в т. н. «революционные» декларации Колосова, ни в чепуху о «пролетарском браке» и «классовой точке зрения в любви». Нельзя не отметить проявленное потом Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд», и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях (см. издание 1932 г.). Это требовала память о Ленине. Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя...

В попытках узнать Ленина у меня были «открытия», приятно удивлявшие (например, его любовь природы, отношение к Тургеневу и т. д.), но были и откры-

тия другого рода, ставившие просто в тупик. Об одном из них я сейчас и расскажу.

В конце января 1904 г. в Женеве я застал в маленьком кафе на одной из улиц, примыкающих к площади Plain de Plainpalais, Ленина, Воровского, Гусева. Придя после других, я не знал, с чего начался разговор между Воровским и Гусевым. Я только слышал, что Воровский перечислял литературные произведения, имевшие некогда большой успех, а через некоторое, даже короткое время настолько «отцветавшие», что, кроме скуки и равнодушия, они ничего уже не встречали. Помню, в качестве таких вещей он указывал «Вертера» Гете, некоторые вещи Жорж Занд и у нас «Бедную Лизу» Карамзина, другие произведения, и в их числе «Знамение времени» Мордовцева. Я вмешался в разговор и сказал, что раз указывается Мордовцев, почему бы не вспомнить «Что делать?» Чернышевского.

— Диву даешься,—сказал я,—как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого прославленного романа написаны таким языком, что их читать невозможно. Тем не менее на указание об отсутствии у него художественного дара Чернышевский высокомерно отмечал: «Я не хуже повествователей, которые считаются великими».

Ленин до сего момента рассеянно смотрел куда-то в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что я говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул закрипел. Лицо его окаменело, скулы покраснели — у него это всегда бывало, когда он злился.

— Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — бросил он мне. — Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса! Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать?» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал,—сказал я.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю: «недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы

Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепыхал. Когда вы читали «Что делать?»? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

— Значит,— спросил Гусев,— вы не случайно называли в 1903 году вашу книжку «Что делать?»?

— Неужели,— ответил Ленин,— о том нельзя догадаться?

Из нас троих меньше всего я придавал значение словам Ленина. Наоборот, у Воровского они вызвали большой интерес. Он начал расспрашивать, когда, кроме «Что делать?», Ленин познакомился с другими произведениями Чернышевского и, вообще, какие авторы имели на него особо большое влияние в период, предшествующий знакомству с марксизмом. Ленин не имел привычки говорить о себе. Уже этим он отличался от подавляющего большинства людей. На сей раз, изменяя своему правилу, на вопрос Воровского он ответил очень подробно. В результате получилась не написанная, а сказанная страница автобиографии. В 1919 г. В. В. Воровский — он был короткое время председателем Госиздата — счел нужным восстановить в памяти и записал слышанный им рассказ. Хотел ли он его вставить в начинавшееся тогда издание сочинений Ленина или написать о нем статью — не знаю. Стремясь придать записи наибольшую точность, он обратился за помощью к памяти лиц, присутствующих при рассказе Ленина, т. е. к Гусеву и ко мне. Лучшим способом установить правильность передачи было бы обращение к самому Ленину. Воровский это и сделал, но получил сердитый ответ: «Теперь совсем не время заниматься пустяками». Ленин тогда очень сердился на Воровского — за скверное выполнение Госиздатом партийных

поручений*. Гусев, находившийся на фронте гражданской войны, оказал Воровскому минимальную помощь. Тетрадку — а в ней для замечаний и добавлений к записи Воровский оставил широкие поля — он возвратил почти без пометок, ссылаясь, что многое не помнит. В отличие от него, я внес в записку кое-какие добавления и некоторые выражения Ленина, крепко сохранившиеся в памяти. Впрочем, мои добавления были очень невелики. Запись Воровского была сделана так хорошо, с такой полнотой, что в них не нуждалась. После этого я больше Воровского не видел. Вскоре он был назначен на пост посла в Италию, а в 1923 году убит в Лозанне.

Запись Воровского, восстанавливая рассказ Ленина, бросает новый свет на историю его духовного и политического формирования. Должен сознаться, что я понял это с громадным опозданием. Нужно было предполагать, что в СССР, где собираются даже самые ничтожные клочки бумажек, имеющие отношение к Ленину, запись Воровского будет напечатана. Однако сколь ни искал я ее в доступной мне советской литературе — нигде не нашел. О ней нет ни малейшего упоминания. Чем и как это объяснить? Запись Воровского со слов самого Ленина устанавливает, что он стал революционером еще до знакомства с марксизмом, в сторону революции его «перепахал» Чернышевский и потому, не поддаваясь упорно поддерживаемому заблуждению, нельзя утверждать, будто только один Маркс, марксизм «вылепил» Ленина. Под влиянием произведений Чернышевского Ленин, к моменту встречи с марксизмом, оказался уже крепко вооруженным некоторыми революционными идеями, составившими специфические черты его политической физиономии именно как Ленина. Все это крайне важно и находится в резком противоречии с партийными канонами и казенными биографиями Ленина. Весьма возможно, что именно по этой причине — запись Воровского и не

* Ленин пришел в ярость за небрежное издание Госиздатом брошюры о конгрессе Коминтерна. Объявляя за это выговор Воровскому, Ленин в октябре 1919 г. ему писал:

«Брошюра издана отвратительно. Это какая-то пачкотня. Какой-то идиот или перяха, очевидно безграмотный, собрал точно в пьяном виде, все «материалы», статейки, речи и напечатал». Ленин приказывал виновных «засадить в тюрьму» и заставить их вклеивать исправления во все экземпляры. Никто не был посажен в тюрьму, но переполох был большой...

опубликована. Если же это предположение неверно, нужно сделать другое заключение: в бумагах Воровского или в той части их, которая попала в партийный архив, она не найдена и ее следует считать погибшей. В таком случае приобретают важность и те извлечения, что я сделал из нее, когда на несколько дней она была в моих руках. Крайне жалею, что в то время не придавая ей должного значения, поленился полностью списать ее. Вот что рассказал Ленин.

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани *. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой ** состязались, кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли, и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля, и так как

* Ленин был выслан в Кокушкино, 40 верст от Казани, имение его матери и тетки. «Ссылка» продолжалась от начала декабря 1887 г. по ноябрь 1888 г. «Что делать?» он прочитал в Кокушкине летом 1887 г.

** Сестра — Анна Ильинична, высланная в мае 1887 г. из Петербурга после казни Александра Ульянова. Некоторое время только она и Ленин жили в Кокушкине. Потом туда переехала вся семья Ульяновых. Ленин со всеми удобствами жил в семейной обстановке. Трудно это назвать «ссылкой».

Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал, замечательные по глубине мысли, обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского с «карандашом» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти*. Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунамеках**. Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, проницательностью и силою, как Чернышевский, понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма. В бывших у меня в руках журналах, возможно находились статьи и о марксизме, например статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать — читал ли я их или нет***. Одно только несомненно — до знаком-

* Чернышевский умер в 1889 г. в Саратове.

** «Расшифровке» политических взглядов Чернышевского могла помочь и сестра Анна. Она была старше Ленина на 6 лет, вращалась в Петербурге в среде оппозиционно настроенного студенчества и до 1893 года разделяла народнические воззрения.

*** В записке Воровского было указано, о каких статьях говорил Ленин. В моих «извлечениях» этого, как и многого другого, нет. Ленин, вероятно, имел в виду статью Ю. Жуковского «К. Маркс и его книга о капитале», помещенную в «Вестнике Европы» в 1877 г., и статью в том же году в «Отечественных Записках» Михайловского «Карл Маркс перед судом Ю. Жуковского». Возможно, что речь шла о другой статье Михайловского в «Отечественных Записках» 1872

ства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши разногласия») они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это наталкивали очерки В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта, Скалдина. До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее влияние имел на меня только Чернышевский, и началось оно с «Что делать?». Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления. Перед этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени.

Говоря о влиянии на меня Чернышевского как главным, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи, — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне», — ударили, как молния. Я, конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано, и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовывалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову)

г. — о русском переводе 1-го тома «Капитала». В то время они могли остаться Ленину неизвестными по той причине, что в отличие от «Современника», — «Вестник Европы» и «Отечественные записки» в книжном шкафу в Кокушкине были представлены не полными годовыми комплектами, а лишь разрозненными книгами. Указание на это сделано Воровскому Анной Ильиничной.

и Засулич: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода. Куда там! Добролюбова, которого Энгельс называл социалистическим Лессингом, у нас не было».

Когда после этого рассказа Ленина я возвращался с Гусевым в наш отель, он посмеивался надо мною:

— Ильич за непочтительное отношение к Чернышевскому вам глаза хотел выдрать. Старик, видимо, и по сей день не забыл его. Никогда все-таки не предполагал, что Чернышевский ему в молодости так голуу вскрыжит.

< . . . >

Ленин был бурный, страстный и пристрастный человек. Его разговоры, речи во время прогулок о Бунде, Акимове, Аксельроде, Мартове, борьбе на съезде, где, по его признанию, он «бешено хлопал дверями», были злой, ругательской, не стесняющейся в выражениях полемикой. Он буквально исходил желчью, говоря о меньшевиках. Моментами он останавливался посреди тротуара и, запустив пальцы под отворот жилетки (даже когда был в пальто), то откидываясь назад, то подсакивая вперед, громил своих врагов, не обращая никакого внимания, что на его жестикуляцию с некоторым удивлением смотрят прохожие. С подобным проявлением страсти ведущееся «говорение» — и не один день, а в течение многих дней, — несомненно, должно было изнашивать его, утомлять, отымать у него часть запаса энергии, а она после приступа ража была у него в отлив, подсекалась колебанием и сомнениями. Обращаю на это внимание по следующим соображениям. Насколько я знаю, Ленин с самого утра принимался за писание и писал до завтрака (по-русски до обеда). После него он снова садился писать до 4 часов, когда выходил гулять. Однако на прогулках, хотя он выходил для отдыха, работа над книгой (переход от «шепота» к «говорению»), в сущности, продолжалась, трата умственной энергии не прекращалась. Возвратясь домой, он иногда до позднего часа продолжал писать. Вероятно, при таком расписании дня, у Ленина на разговоры с Крупской, на объяснение, «говорение» ей того, что пишет, оставалось меньше времени, чем она того хотела. Она могла чувствовать, что при составлении «Шаг вперед — два шага назад» не

занимает того положения, которое привыкла иметь во время прежних работ Ленина. Уходы «Ильича» на прогулку, главное — траты, пусть даже частицы, его энергии на «поучение» какого-то Самсонова она должна была считать ненужными, вредными для дела, утомляющими Ильича и вместе с тем в какой-то степени ущемляющими ее право быть единственным и «первым слушателем». Возможно, что я ошибаюсь, но так я объясняю появление у Крупской недовольства мною, постепенно нараставшее против меня раздражение и переход его уже в несдерживаемый гнев. Крайне любопытно, что до яростной стычки со мною, происшедшей в июне, по поводу философских вопросов, Ленин в течение почти трех месяцев не обращал внимания на гнев Крупской. В одной из следующих глав я приведу неоспоримое свидетельство, что еще в начале июня он продолжал ко мне «благоволить».

Не могу окончить эту главу воспоминаний, не дав дополнительных, более подробных сведений о двух особых психологических состояниях Ленина, столь бросившихся мне в глаза во время прогулок с ним, когда он писал «Шаги». Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения и следующее за ним состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. Все, что позднее, после смерти Ленина, удалось узнать и собрать о нем, с полной неоспоримостью показывает, что именно эти перемежающиеся состояния были характерными чертами его психологической структуры.

В «нормальном» состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Он не курил, не выносил алкоголя, заботился о своем здоровье, для этого ежедневно занимался гимнастикой. Он — воплощение порядка и аккуратности. Каждое утро, перед тем как начать читать газеты, писать, работать, Ленин, с тряпкой в руках, наводил порядок на своем письменном столе среди своих книг. Плохо держащуюся пуговицу пиджака или брюк укреплял собственноручно, не обращаясь к Крупской. Пятно на костюме старался вывести немедленно бензином. Свой велосипед держал в такой чистоте, словно это был хирургический инструмент. В этом «нормальном» состоя-

нии Ленин представляется наблюдателю трезвейшим, уравновешенным, «благонравным», без каких-либо страстей человеком, которому претит беспорядочная жизнь, особенно жизнь богемы. В такие моменты ему нравится покойная жизнь, напоминающая Симбирск. «Я уже привык,— писал он родным в 1913 г.,— к обиходу краковской жизни, узкой, тихой, сонной. Как ни глух здешний город, а я все же больше доволен здесь, чем в Париже».

Это равновесие, это «нормальное» состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. Он всегда уходил из него, бросаясь в целиком его захватывающие «увлечения». Они окрашены совершенно особым аффектом. В них всегда элемент неистовства, потери меры, азарта. Крупская крайне метко назвала их ражем (как она говорила — «ражью»). В течение его ссылки в Сибири можно хорошо проследить чередование разных видов ленинского ража. Купив в Минусинске коньки, он и утром и вечером бежит на реку кататься, «поражает» (слова Крупской) жителей села Шушенского «разными гигантскими шагами и испанскими прыжками». Он любил с нами состязаться, пишет Лепешинский. «Кто со мною вперегонки?» И впереди всех несется Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, лишь бы победить во что бы то ни стало и каким угодно напряжением сил. Другой раж — охотничий. Ленин обзавелся ружьем, собакой и до изнеможения рыщет по лесам, полям, оврагам, отыскивая дичь. Он отдавался охоте, говорит тот же Лепешинский, с таким «пылом страсти», что в поисках дичи был способен пробегать в день «по кочкам и болотам сорок верст». Шахматы — третий раж. Он мог сидеть за шахматами с утра до поздней ночи, и игра до такой степени заполняла его мозг, что он бредил во сне... Крупская слышала, как во сне он вскрикивал: если он конем пойдет сюда, я отвечу турой. Можно указать и четвертый раж.

«Ильич,— писала родным Крупская,— заявлял, что не любит и не умеет собирать грибы, а теперь его из леса не вытащишь, приходит в настоящую грибную ражю». Эта «ражю» неоднократно на него находила. Летом 1916 г. Ленин и Крупская из дома отдыха Чудивизе (недалеко от Цюриха) спешили по горным тропинкам на поезд. Накрапывал дождик, скоро превра-

тившийся в ливень. В лесу Ленин увидел белые грибы, немедленно впал в азарт и, несмотря на ливень, бросился их собирать. «Мы вымокли до костей, опоздали, конечно, на поезд», все-таки грибной раж свой Ленин удовлетворил вполне: бросил собирать грибы только тогда, когда наполнил ими целый мешок.

Подобного рода раж, но еще с большим неистовством, он вносил и в свою общественную, революционную и интеллектуальную деятельность. В 1916 г. он писал Инессе Арманд:

«Вот она судьба моя! Одна боевая кампания за другой. И это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, я все же не променял бы сей судьбы на мир с пошляками».

Боевая кампания! Лучше и не скажешь. Боевая кампания против народников, кампания за организацию партии, установление в ней централизма, железной дисциплины, кампания за бойкот Государственной думы, за вооруженное восстание, кампания против «ликвидаторов» — меньшевиков, кампания за идеологическое истребление всех, не разделяющих воззрения диалектического материализма, кампания за поражение России в войну 1914—1917 гг., кампания за свержение Временного правительства, за захват власти, чтобы «или погибнуть, или на всех порах устремиться вперед». Жизнь Ленина действительно прошла в виде кампаний, войны, для которой мобилизовались все его интеллектуальные и физические силы.

Что происходило с Лениным во всех этих «кампаниях», могу ясно себе представить по его состоянию во время работы над «Шагом вперед». Чтобы осуществить свою мысль, свое желание, намеченную им цель очередной кампании, заставить членов его партии безоговорочно ей подчиниться, Ленин, как заведенный мотор, развивал невероятную энергию. Он делал это с непоколебимой верою, что только он имеет право на «дирижерскую палочку». В своих атаках, Ленин сам в том признавался, он делался «бешеным». Охватившая его в данный момент мысль, идея, властно, остро заполняла весь его мозг, делала его одержимым. Остальные секторы психической жизни, другие интересы и желания в это время как бы свертывались и исчезали. В полосу одержимости перед глазами Ленина — только одна идея, ничего иного, одна в темноте ярко светя-

щаяся точка, а перед нею запертая дверь, и в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Р. Авенариус. Он бешено их всех ненавидит, хочет им «дать в морду», налепить «бубновый туз», оскорбить, затоптать, оплевать. С таким ражем он сделал и октябрьскую революцию, а чтобы склонить к захвату власти колеблющуюся партию, не стеснялся называть ее руководящие верхи трусами, изменниками и идиотами.

Грандиозные затраты энергии, требуемые каждой затеваемой Лениным кампанией, вызывая самопогоняние и беспощадное погоняние, подхлестывание других, его изнуряли, опустошали. За известным пределом иступленного напряжения его волевой мотор отказывался работать. Топлива в организме для него уже не хватало. После взлета или целого ряда взлетов ража начиналось падение энергии, наступала психическая реакция, атония, упадок сил, сбивающая с ног усталость. Ленин переставал есть и спать. Мучили головные боли. Лицо делалось бурожелтым, даже чернело, маленькие острые монгольские глаза потухали. Я видел его в таком состоянии. Он был неузнаваем. Спасаясь от тяжелой депрессии, Ленин убегал отдыхать в какое-нибудь тихое, безлюдное место, чтобы выбросить из мозга, хотя бы на время, вошедшую в него, как заноза, мысль; ни о чем не думать, главное — никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Так, после окончания «Шага вперед», Ленин с Крупской на несколько недель ушли бродить в горы. «Мы выбирали, — вспоминала Крупская, — самые дикие тропинки, забирались в самую глушь, подальше от людей». С подобным же состоянием Ленина мы знакомимся в июне 1907 г. Раж, с которым Ленин поносил либералов, ка-де, призывал к вооруженному восстанию, боролся с меньшевиками, столь истощил его силы, что после лондонского съезда партии он возвратился в Куоккала, в Финляндию, полутрупом. Крупская немедленно увезла его подальше от людей, в глубь Финляндии, в тишайшее местечко Стирсудден на дачу Книповича. Он точно потерял способность ходить, всякое желание говорить, почти весь

день проводил с закрытыми глазами. Он все время засыпал. Доберется до леса, «сядет под ель и через минуту уже спит». Дети с соседней дачи называли его «дрыхалкой». Крайне характерно то, что, начав оживать, Ленин писал матери из Стирсуддена:

«Здесь отдых чудесный... безлюдие, безделие. Безлюдие и безделие для меня лучше всего».

Это Ленин без боевых доспехов. В состоянии полной потери сил он был и в Париже в 1909 г. после очередной партийной склоки и изнурительной кампании против Богданова, эмпириокритиков, «впередовцев» и т. д. Он убежал в деревушку Вон Вон в департаменте Сэн и Марн, никого не желая видеть, слышать, и только после трех недель «жизни на травке» превозмог охватившую его депрессию. Опустошенным возвратился он и с циммервальдовской конференции в 1915 г., где неистово сражался за превращение империалистической войны в войну гражданскую. Он искал отдыха в укромном местечке Соренберг, недалеко от Берна, у подножия горы Ротхорн. По приезде забирается на гору и здесь «вдруг ложится на землю», вернее, точно подкошенный, падает «очень неудобно чуть не на снег, засыпает и спит как убитый». Крупская, уже достаточно привыкшая к чередованию у Ленина высочайших взлетов и тяжкого духовного и физического изнеможения, меланхолично писала: «Циммервальдовская конференция, видно, здорово ему нервы потрепала, отняла порядочно сил».

В июле 1921 г. Ленин писал Горькому: «Я устал так, что уже ничегошеньки не могу». Стоило бы показать — как с октября 1917 г. то взлетал, то исчезал ленинский «раж», чтобы, в конце концов, превратить этого бурного человека в паралитика, потерявшего способность речи, с омертвелой рукой и ногой. Но это уже далеко выходит из рамок моих записок.

Таков был Ленин. Состояние его психики никак не может быть «графически» представлено более или менее плавной линией. Линия, перпендикулярно вздымающаяся вверх, линия, перпендикулярно свергающаяся до самого крайнего предела вниз, — вот его психический график. Думается, что люди с таким устройством, с такими прыжками мозговой системы должны, как Ленин, умирать от кровоизлияния в мозг...

На другой день, придя к Ленину, я, разумеется, рассказал о моем визите к Плеханову. Плеханов ему импонировал, как никто другой, больше чем Каутский, больше чем Бебель. Все, что тот говорил, делал, писал, его крайне интересовало. Он превращался в одно внимание, когда речь заходила о Плеханове. «Это человек колоссального роста, перед ним приходится съеживаться», — сказал он Лепешинскому. Пришлось рассказать, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Я должен был эту историю представить с самого ее начала, т. е. с описания киевского кружка сектантов, роли в нем Семена Петровича, его идей. Помню, что Ленин, засунув большие пальцы за борта жилетки около подмышек, стоял около меня (я сидел) и слушал с явным любопытством. По поводу веры Семена Петровича, его деления людей на «злых» и «совестливых», возможности построить социализм только руками «справедливых людей» — Ленин что-то говорил. Припомнить его слова было бы сейчас неплохо. Я их не помню и думаю, особенно при отвращении Ленина ко всему морализованию, что его замечания по этому вопросу ничего особо интересного не содержали. Будь иначе, я их бы, наверное, запомнил. Наоборот, память превосходно сохранила то, что затем говорил Ленин, ибо тут обнаружилось мое первое с ним разномыслие, воспринятое мною с большой тревогой и неприятностью. Из него вытекало, что, несмотря на признание Ленина большим человеком, очень большую к нему симпатию, желание идти за ним и вместе с ним, есть весьма важные вопросы, отношение к которым Ленина меня отвращает. Я увидел, что, как бы ни было в области партийной враждебно его отношение к Плеханову, Ленин незамедлительно, без колебаний встал на его сторону в области философии, притом в форме, произведшей на меня тяжкое впечатление.

— Вы заявили Плеханову, что материализм нужно заменить какой-то разновидностью буржуазной философии. Но ведь это вздор, вреднейший вздор! Плеханов трижды прав, дав вам немедленно отпор. Не нужно смешивать Плеханова, заседающего в компании оппортунистов в редакции новой «Искры», с Плехановым, после смерти Энгельса лучшим знатоком и лучшим ком-

ментатором марксистской философии. Несколькими фразами он вас отклестал, и поделом! В этих вопросах у него нюх острейший. А я не знал — это для меня большая новость, — что и у вас склонность исправлять Маркса.

— Позвольте заметить, что Плеханов назвал теорию познания Авенариуса и Маха подвалом буржуазной мысли, даже не потрудившись с нею познакомиться, даже не прочитав ни одной их строки. Такое отношение к чужой научной мысли меня возмущает. Это — Шемякин суд.

— Во-первых, не думаю, что Плеханов не знает ваших философов. За философией он следит. А если он вам сказал, что не знает, вероятно, потому, чтобы подчеркнуть свое презрение к ним. Во-вторых, напрасно возмущаетесь. Мы теперь превосходно знаем, к чему ведут пробы соединения Маркса с чуждыми его духу теориями. Это наглядно показывает Бернштейн, а у нас хотя бы Струве и Булгаков. Струве от поправляемого им марксизма быстро скатился к самому пошлому вонючему либерализму, а Булгаков катится еще в более мерзкую яму. Марксизм — монолитное мировоззрение, он не терпит, чтобы его разжижали, опошляли разными вставочками. Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уже о чем, Плеханов однажды мне сказал: «Сначала налепим на него бубновый туз, а потом разберемся». А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь. Такой должна быть реакция всякого здорового революционера. Когда на своей дороге встречаете зловонную кучу, вам не требуется копаться в ней руками, чтобы определить, что это за вещь. Вы носом сразу чувствуете, что это г—о, и проходите мимо.

От слов Ленина у меня дыхание сперло.

— Из огня Плеханова я попадаю в ваше полымя, — сказал я. — Плеханов говорит, что философы Авенариус и Мах, хотя они ему неизвестны, — ведьмы и, какие у них глаза — красные или желтые, его не интересует. А другой наш теоретик — Ленин рекомендует, не разбираясь в их теориях, клеймить этих людей бубновым тузом. Вы все время повторяете: буржуазная философия, буржуазные философы. Теория Авенариуса и Маха не есть какая-то метафизическая концепция, это попытка создания научной теории познания, осно-

ванной только на опыте. Прежде чем лепить на нее бубновый туз — попробуйте ее узнать и в ней разобраться. Нет буржуазной или пролетарской астрономии, алгебры, физики или химии, нет и буржуазной теории познания. Речь может идти только о том — верна или неверна теория Авенариуса и Маха. Даже допустив, что в ней есть какие-то элементы, присущие буржуазному образу мысли, нельзя без предварительного доказательства клеймить ее авторов, как преступников, бубновым тузом. Вы упомянули Булгакова. Будучи студентом политехникума, я был одним из участников его экономического семинария. Он организовал его для студентов, желающих в области социальных наук знать больше того, что дает в течение часа лекция по политической экономии. В этой семинарии мы при полной свободе ставили и обсуждали разные вопросы. И почти каждое наше собрание Булгаков открывал торжественным напоминанием: «Истина добывается честным, свободным, лояльным сопоставлением идей». Откровенно говорю: такой метод мне гораздо более по душе, чем ваш бубновый туз.

— Ах, вот как! Вы, значит, были в семинарии Булгакова. Еще одна новость! Не поздравляю, не поздравляю. Не под влиянием ли Булгакова у вас и появилась склонность к исправлению Марксовой философии? Это скользкая дорожка. Социал-демократия не есть семинарий, где сопоставляются разные идеи. Это боевая классовая организация революционного пролетариата. У нее есть программа, мировоззрение, принадлежащий только ей строй идей. В ней на особую свободу критики и сопоставление идей — нечего рассчитывать. Кто вошел в партию, должен следовать за ее идеями, их разделять, а не колебать. Если они не нравятся — вот Бог, а вот порог, выход свободен. Мы хорошо теперь знаем, что скрывается за так называемой «свободой критики», которую требуют не пролетарские, а именно интеллигентские, зараженные буржуазными предубеждениями элементы социал-демократической партии. Повторяю: молодец Плеханов. Он сразу почувствовал, что вас следует ударить.

— Владимир Ильич, смею вас уверить, ни в какой мере я ревизионизму не сочувствую. Если у меня есть симпатия к философии Авенариуса и Маха, то только потому, что она самым революционным образом со-

крушает всякую метафизику. Познакомьтесь с нею, вы это признаете. Отвергая ревизионизм, все-таки не думаю, что марксизм есть нечто застывшее, раз навсегда данное, исключаящее какие-либо изменения. Плеханов однажды писал, что марксизм есть абсолютная истина, которую уже не отменит никакой рок. Как вы относитесь к этой формуле? Как совместить ее с диалектикой?

— Я полностью согласен с Плехановым. Маркс и Энгельс наметили и сказали все, что нужно сказать. Если марксизм нуждается в развитии — то только в направлении, указанном его основоположниками. Ничто в марксизме не подлежит ревизии. На ревизию один совет: в морду! Ревизии не подлежат ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата, короче, ни один из основных пунктов марксизма!

< . . . >

В половине мая книга Ленина «Шаг вперед — два шага назад» вышла из печати. Она вызвала буквально бурю возмущения среди меньшевиков Жёнёвы. Незадолго до этого Плеханов, защищая Мартова от нападок большевиков, писал, что «тов. Мартов — непримиримый враг ревизионизма и ортодокс чистейшей воды». И вот теперь в книге Ленина можно было прочитать, что и Мартов, и Аксельрод, и прочие меньшевики тянутся к оппортунизму, жоресизму, ревизионизму, тем обнаруживая поползновение уйти от ортодоксального марксизма. Редакция «Искры» и меньшевики, считавшие себя самыми настоящими представителями «ортодоксии чистейшей воды», не могли допустить подобного оскорбления. На атаку Ленина они ответили контратакой, печатав против него серию статей в каждом номере «Искры». Стрельбу открыл Плеханов. Еще до выхода книги Ленина он поместил в «Искре» статью о «Централизме и бонапартизме», где, высмеивая большевистских лягушек, желающих иметь царя, резко критиковал организационную схему и централизм Ленина. В номере «Искры», помеченном 15 мая, в статье «Теперь молчание невозможно» Плеханов, обращаясь к членам Центрального Комитета партии, заграничным

представителем которого был Ленин, требовал от них отмежеваться от политики Ленина.

«Деятельность ваших заграничных представителей пропитана духом той политики, которую я называю политикой мертвой петли, туго затягиваемой на шее партии. Наиболее видным и последовательным носителем принципов этой политики являлся и является тов. Ленин. Зачем вы молчите теперь, когда вам следовало бы не только говорить, а прямо греметь, трубить во все трубы, кричать со всех крыш о вашем отношении к бонапартизму? Прервите же ваше молчание! Скажите нам прямо и решительно: как понимаете вы централизм, что вы думаете о бонапартизме или, короче, одобряете ли вы политику Ленина? Это тем более уместно, нужно, полезно сделать теперь, когда Ленин выпустил брошюру, которая в истории наших внутренних распрей будет играть роль масла, подлитого в огонь. Вы не отняли у Ленина его полномочий, и он, пользуясь ими, продолжал делать все от него зависящее для того, чтобы толкать партию прямо к расколу. У него был для этого свой и совершенно понятный расчет».

На Ленина, избегавшего задевать Плеханова, желавшего его «нейтрализовать», не особенно раздражать, статья Плеханова должна была произвести сильное впечатление. Плеханов явно никакой «нейтрализации» не поддавался. Наоборот, он нападал и весьма недвусмысленно требовал от Центрального Комитета лишить Ленина полномочий. Ленин мыслил себя только на самом высшем посту командования партии. Если после ухода из редакции центрального органа его теперь хотят удалить из Центрального Комитета — каково будет его положение? Самое предположение, что он может (быть) лишен всякого касательства к «дирижерской палочке», — должно было казаться ему невероятным абсурдом. Нужно думать, по его указанию, Крупская обошла наиболее видных большевиков Женевы, указывая им, что большевистская колония не может оставить без ответа статью Плеханова, должна вступить за Ленина и письмами в редакцию «Искры» протестовать против обвинений Ильича. М. Лядов (Мандельштам) в своих воспоминаниях пишет:

«Сразу появилось несколько проектов открытых писем к Плеханову. Помню, мы собрались все у Ильича

на квартире и прочитали эти проекты. Решили, что застрельщиком выступлю я с моим письмом как делегат второго съезда. Вслед за тем должно быть послано коллективное письмо, написанное, если не ошибаюсь, одним из братьев Вольских, жившим тогда под фамилией Валентинова, вскоре перешедшего к меньшевикам. Мое письмо удостоилось помещения в «Искре» и грубейшего ответа «тамбовского дворянина» Плеханова. Но коллективное письмо напечатано не было под предлогом, что редакция не знает, имеют ли право подписавшиеся называть себя членами партии».

Лядов кое-что путает. Я жил в Женеве не под фамилией Валентинова, а Самсонова. Псевдонимом Н. Валентинов стал подписывать свои статьи в московском журнале Кожевникова «Правда» лишь в следующем году, в 1905-м. Но важно не это, а другое, что ни Лядов, ни другие большевики Женевы не знали и не узнали и о чем я дал Ленину обещание никогда никому не говорить.

На собрании у Ленина Лядов прочитал написанный им ответ Плеханову, а мне действительно было поручено составить письмо от имени группы женевских большевиков. Но когда после собрания мы расходились, Ленин шепнул мне: «Выходите со всеми, потом возвращайтесь ко мне». Так я и сделал.

— Письмо Лядова, — заявил мне Ленин, — неплохо, а все-таки слишком, слишком мягко. Мне было неудобно ему об этом сказать. Не могу же я заявить, что вы меня плохо защищаете. Плеханову нужно написать такое письмо, чтобы оно у него как кость в горле застряло. Давайте с вами такое письмо составим. Пойдет оно в редакцию «Искры» не за подписью группы, а только за вашей. Если наша публика захочет вдогонку послать еще коллективный протест, делайте это, но сначала пошлем письмо, о котором говорю. Для него есть интересный матерьялец. Приходите ко мне завтра утром.

Мое раздражение против Плеханова, не по той причине, что руководила Лениным, совсем не остыло, и я заявил, что готов послать Плеханову письмо во много раз более резкое, чем написанное Лядовым, и проект такого «послания» приготавливаю, придя домой. С этим проектом я и пришел к Ленину на следующий день. Он

бегло просмотрел его, отложил в сторону и сказал: прочитайте предварительно, что я вам сейчас покажу. То было письмо к нему Плеханова, написанное года полтора перед этим. Извлеченное из архива Ленина, оно в тридцатых годах напечатано в одном из томов третьего издания сочинений Ленина, и я могу точно привести ту часть его, на которую Ленин меня заставил обратить особое внимание.

«Поверьте одному,— писал ему Плеханов,— я глубоко вас уважаю и думаю, что на 75 % мы с вами ближе друг к другу, чем ко всем другим членам коллегии («Искры»), на остальные 25 % есть разница, но ведь 75 % втрое больше 25 %».

— Итак,— говорил Ленин,— еще совсем недавно Плеханов находил, что на 75 % он ко мне ближе, чем к Аксельроду, Засулич, Староверу. На партийном съезде он заявил, что Акимов и другие, подобно Наполеону, любившему разводить своих маршалов с их женами, стараются нас, т. е. Плеханова и меня, во что бы то ни стало развести, но на развод он не пойдет. После съезда, когда мы с ним вдвоем редактировали «Искру» (с конца августа по ноябрь 1903 г.), Плеханов, напоминая о своем письме, говорил: четыре прежних редактора «Искры» своим поведением и речами меня окончательно от них отшатнули. Я вижу, что нашу близость нужно измерять не 75 %, а бóльшим процентом. И Плеханов шутил: «Примерно 85—90 %». В это время он беспощадно критиковал Аксельрода, называя его «калечью», человеком, потерявшим всякую ценность для партии. Над Засулич издевался. Она-де выжила из ума, думает, что он — Плеханов — генерал Трепов, в которого она стреляла 26 лет назад. Старовера-Потресова называл переодетым в марксизм либералом. О Мартове говорил, что человек он способный, но истерик, и Плеханов не удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что Мартов прибегает к кокаину. Такова была характеристика Плехановым членов коллегии «Искры»*. Из них первых троих он, как и я, считал на съезде не подлежащими избранию в редак-

* Троцкий сказал о Ленине, что у него, как у микроскопа, была способность все увеличивать. «Микроскоп», вероятно, «преувеличил» и характеристику Плехановым своих коллег. Во всяком случае, она была бесконечно далеко от действительной ценности критикуемых лиц.

цию. Что же произошло потом? Флюгер вертится, и Плеханов призывает в редакцию людей, признаваемых им калечью и ненужными, а я сразу делаюсь вредным, опасным человеком, бонапартистом и меня следует удалить из Центрального Комитета. Зная теперь многое о поведении Плеханова, вы поймете, какого рода письмо он заслуживает!

Вынув из кармана, Ленин прочитал составленное им послание к Плеханову. Мне трудно теперь передать его содержание, скажу только, что это была защита Ленина и яростное нападение на Плеханова. Оно было пропитано ядом и резкими выражениями. Как и письмо Лядова, оно состояло из вопросов, и каждый из них должен был ставить Плеханова в неудобное положение, особенно те, где он указывал на отношение последнего к своим коллегам по редакции. Письмо Ленина было во много раз язвительнее моего проекта, тем более письма Лядова.

— Если этот проект, — сказал Ленин, — вы одобряете, тогда предлагаю вам его переписать и поставить подпись — Самсонов.

У меня, повторяю, был слишком большой зуб против Плеханова, письмо Ленина я немедленно одобрил, но подпись решил поставить — не Самсонов, а Н. Нилов. Я хотел этим напомнить Плеханову, что я тот самый человек («пошлите этого человека ко мне»), которого он угостил возмутительной болтовней о буржуазных ведьмах с красными и желтыми глазами. Единственно что меня несколько смущало — это слишком уже большое знание Плеханова и партийных дел, видное из этого письма: откуда то может знать Самсонов-Нилов? «Это совсем не важный вопрос, — ответил Ленин. — Сорока на хвосте вам эти сведения принесла. Важнее другое — как будет выворачиваться Плеханов, посмеет ли он сказать, что все в письме неправда. Пусть попробует, тогда мы его прищемим еще сильнее». — «Ну а если товарищи меня будут спрашивать — откуда я знаю, о чем пишу в письме?» — «Вы и им ответьте: сорока на хвосте мне сведения принесла».

Большое, на 7 или 8 почтовых страницах, письмо Ленина, написанное очень мелким почерком, я тут же переписал, отдав оригинал Ленину, который его порвал на мелкие клочки. В этом произведении «Н. Нилов», кроме двух или трех запятых и маленького сти-

листического исправления, ничего моего нет, но Ленин, прощаясь со мною, хитро улыбаясь, счел нужным подчеркнуть, что письмо написано «одним Ниловым, только Ниловым» и маленький секрет должен быть безусловно сохранен. В этом я «покаялся» Ленину. Не думаю, что нарушение через 48 лет моего обещания может быть признано большим преступлением.

Вскоре после этого мне пришлось быть у Бонч-Бруевича. Он жил тогда на окраине Женева, на даче, среди большого парка. Бонч мне объявил, что у него есть срочная работа, бросить ее он не может и он просит меня вместо него пойти к Ленину — передать ему пакет с полученными из России письмами. К Ленину на rue du Foyer после столкновения с Крупской я ходить избегал, все же, чтобы не плодить сплетен, я Бончу об этом ничего не сказал. Я согласился выполнить просьбу Бонча и отправился к Ленину. Я нашел его в состоянии крайнего раздражения. «Почитайте, — кинул он мне, — что пишет тамбовский дворянин». — «Кто??» — «Плеханов». Это были гранки еще невышедшего номера «Искры», помеченного 1 июня. Кто-то из большевиков их принес Ленину из типографии. Я стал читать. За набранным письмом Лядова следовал ответ ему Плеханова. Ответ архигрубый, причем сразу почуялось, что Плеханов бьет не столько по Лядову, сколько по Нилову, т. е. по Ленину, ибо письмо Лядова не было таким уже непозволительным допросом с пристрастием, в котором его обвинял Плеханов.

«Ставлю вам на вид, что ваше письмо написано странным тоном допроса с пристрастием. Этот тон гораздо более приличествует какому-нибудь сутяге из персонажей Островского, чем социал-демократу. Я решительно не знаю, что дает вам право говорить со мною таким тоном. Вы, почтеннейший, обязаны вести себя прилично и помнить, что тон допроса с пристрастием непозволителен».

Переходя на презрительно-шутливый тон, Плеханов продолжал:

«Что же касается собственно ваших допросных пунктов, то я, неслужилый дворянин Тамбовской губернии Георгий Валентинов сын Плеханов, у исповеди и святого причастия давно уже не бывавший, не токмо за страх, а за совесть отвечаю. Если я незаслуженно обидел Ленина, то готов объяснить с ним, а не тра-

тить время на объяснение с ходатаем. Ходатаев по делам Ленина не нужно, а потому с Лядовым в какие-либо разговоры о нем (Ленине) вступать не желаю, тем более, что мне неизвестно, имеет ли оный ходатай доверенность, засвидетельствованную установленным в законе порядком».

За сим ответом следовал следующий постскрипtum. Он-то и привел Ленина в бешенство. Он тыкал в него пальцем говоря: «Вот что читайте, вот что!» Что же там было?

«Кроме товарища Лядова мне прислал письмо еще какой-то Нилов. Это лицо мне совершенно неизвестно, так что я не только не знаю, за кого и когда оно голосовало, но мне неизвестно даже, имело ли оно право голосовать за кого-нибудь из нас, т. е. принадлежит ли оно к нашей партии. Если Лядов допрашивает, то Нилов просто бранится. Наша редакция не сочла себя обязанной помещать на столбцах «Искры» эту брань, которая ввиду указанного обстоятельства является как бы анонимной».

Ответ Плеханова — недурная иллюстрация приэмов и лживых уловок, которые допускают в политической и партийной полемике даже большие и почтенные люди. Его ссылка, что ему неизвестно, за кого голосовал Нилов (где, когда?), абсолютно никакого отношения к вопросу не имеет. Но если она бессмысленна, то указание, что Плеханову неизвестно — принадлежал ли Нилов к партии, уже сознательно лживо. Плеханов, чего я и опасался, по разным намекам слишком уже много знающего Нилова, несомненно, догадался, что за спиною последнего стоит Ленин. Печатать письмо Нилова, отвечать на его вопросы-«допросы», Плеханов никак не мог. Они ставили его в самое щекотливое положение. И он вывернулся. Пользуясь Ниловым, Ленин «стрелял» по Плеханову, а Плеханов, обрушиваясь на Лядова, требуя вести себя «прилично», фактически отвечал Нилову, т. е. Ленину, рекомендуя последнему не прибегать к маске, к ходатаям.

Ленин был озлоблен, написанное им письмо не достигло цели.

— Плеханов вывернулся самым позорным образом. Жулик, настоящий жулик! Скажите, а кому вы адресовали письмо?

Я объяснил Ленину, что, так как у него не было

конверта, я, уходя от него, купил конверт, сделал на нем надпись и, возвращаясь к себе домой на rue du Saouge, оставил письмо у консьержа дома, где жил Плеханов.

— Можно ли было делать такую оплошность! Вы поступили как младенец, не могли догадаться, что адресовать и направлять письмо следовало не Плеханову, а редакции «Искры»! Глубоко уверен, что ни одному из других редакторов Плеханов письма не показал. Весь заряд пропал даром. Оставить это дело без продолжения никак нельзя. Выйдет, что нам дали по роже и мы замолчали. Вместо письма в редакцию — напечатаем листовку. Вы мне как-то говорили, что у Плеханова есть как две капли воды на него похожий брат — полицейский. А ну-ка, расскажите мне об этом поподробнее, этим братом нам нужно хлопнуть по Плеханову. На этот счет у меня есть маленький план.

Я рассказал все, что знал о Плеханове-моршанском, и Ленин, прищулив глаза, изложил свой план. «Хлопнуть» Плеханова меня подмывало, ленинский план я весьма охотно выполнил в виде, впрочем несколько отличном от того, что он предлагал. Что я сделал — будет видно из дальнейшего, но, вспоминая сейчас, через 48 лет, эту сцену из партийной склоки, испытываю самое пренеприятное чувство. «Суета сует — все суета».

< . . . >

Вот что тогда произошло. Несколько дней спустя по выходе номера «Искры» с письмом Лядова, ответом Плеханова на него и письмо Нилова в большой зале Handwerk состоялось собрание, на котором присутствовали большевики и меньшевики и были прения о партийных делах. По какому поводу и кем было оно созвано — абсолютно не помню. На собрание пришел и Плеханов, как всегда важный, как всегда, притягивающий к себе всеобщее, почтительное внимание. Увидев его, я решил, что наступил момент «хлопнуть». Я выбрал место в нескольких шагах от Плеханова и после нескольких сцепившихся друг с другом ораторов (от большевиков, насколько помнится, говорил Гусев) попросил слова.

— Мы все время слышим, — сказал я, обращаясь к Плеханову, — о партийном демократизме, который противопоставляется бонапартизму и ленинской политике,

которая, как вы пишете, петля на шее партии. Должен сказать, что мне неясно ваше отношение к этому вопросу. Возьмем такой пример. Я послал письмо в «Искру», подписав его Н. Нилов. Это письмо содержало вопросы, выяснить которые для партии было бы и интересно, и полезно. Возможно, что печатать его вам было неудобно и неприятно: из него видно, сколь непочтительно вы относились к вашим товарищам по редакции. Но отказ печатать его вы мотивируете не этим, а другим: вы-де не печатаете писем «каких-то» неизвестных Ниловых. В партии таких, неизвестных лично вам Ниловых сотни, если не тысячи. Живя четверть века за границей, вы знаете их меньше, чем кто-либо... Я спрашиваю: демократично ли именовать этих членов партии презрительно барским эпитетом «какие-то»? Ведь этот термин, перефразируя фразу в вашем ответе т. Лядову, приличествует гораздо более какому-нибудь реакционному тамбовскому дворянину, чем социал-демократу. Вы пишете, что я вам совершенно неизвестен, т. е., можно подумать, что вы никогда меня не видели. Окажите мне честь, взгляните на меня — не вспомните ли вы, что три месяца назад я был у вас по вашему же приглашению, адресованному т. Бонч-Бруевичу. Кстати сказать, посылая вам мои статьи для журнала «Рассвет», он дал вам довольно подробные сведения о моем партийном стаже. Ваше заявление, что вы не знаете о моей принадлежности к партии, по меньшей мере странно. Вы написали, что, не зная «какого-то» Нилова, не зная, принадлежит ли он к партии, считаете мое письмо как бы анонимным и в качестве такого не подлежащим печатанию. Но здесь, по известным вам причинам полицейского порядка, мы почти все анонимы, почти все живем под вымышленными кличками. Чтобы рассеять анонимность, не быть каким-то неизвестным субъектом, нужно, полагаю, представить вам что-то в ваших глазах более солидное, чем свидетельство партийных товарищей. Что же вам нужно? Очевидно, вы требуете показать вам настоящий паспорт, установленный предрержащими властями. Подобно всякому русскому подданному, был паспорт и у меня. Он был выдан мне полицией города Моршанска Тамбовской губернии, вам известной, так как, в ответе т. Лядову, вы считаете почему-то нужным сообщить, что состоите в дворянском сословии этой губернии. Выдачу мне

законом утвержденного паспорта вы легко можете проверить. Для этого вам надлежит обратиться за справкой к вашему брату Григорию Валентиновичу Плеханову — полицейскому исправнику г. Моршанска.

Моя речь с самого ее начала, ввиду ее заносчивого тона, сопровождалась мало для меня лестными репликами меньшевиков. Например, когда, обращаясь к Плеханову, я сказал «окажите мне честь, взгляните на меня», кто-то из них, вызывая смех, крикнул: «Тов. Плеханов, не смотрите, это совсем не интересно». Реплики, прерывание меня к концу моей речи усилились, а когда я упомянул об исправнике, раздался голос: «Что за ерунду болтаете», «О каком исправнике говорите», я, смакуя ответ, повторил, что у Г. В. Плеханова есть брат — полицейский исправник, что он меня хорошо знает, что я (это уже была выдумка!) был у него под надзором и потому редактору «Искры» он, в порядке родственной услуги, может сообщить все приметы моей личности, тем окончательно рассеивая вопрос об анонимности.

Речь моя была составлена по канве, указанной Лениным, и, следовательно, «план» его я выполнил полностью. Скандал на собрании получился большой. Большевики хохотали, а меньшевики, бывшие в аудитории в подавляющем большинстве, не щадили пускаемых по моему адресу выражений — среди которых были: вун, скандалист! Плеханов, подперев рукою подбородок, смотрел в упор на меня, не произнося ни слова.

< . . . >

Итак, Ленин согласился ознакомиться с произведениями философов эмпириокритической школы и наиболее важные из них я обязался ему принести. «Der Menschliche welt begrieff» Авенариуса у меня был, Маха «Analyse der Empfindungen» быстро нашел у одного знакомого социалиста-революционера, с двухтомным сочинением Авенариуса «Kritik der reinen Ertahrung» было хуже. Для чтения вне библиотеки оно не выдавалось, о покупке же его не могло быть и речи. От того же с.-р. я узнал, что это сочинение есть у В. М. Чернова — одного из лидеров этой партии, и, вооружившись рекомендательным письмом, к нему отправился. Чернов принял меня очень любезно, однако, памятуя

распространенную в русской среде (только ли русской?) привычку «зачитывать», не возвращать книги, видимо, колебался дать Авенариуса; когда же я указал, что книгу прошу не для себя, а для Ленина и через неделю принесу обратно, у Чернова промелькнуло удивление и любопытство.

— Ленин хочет ознакомиться с Авенариусом? Чем объяснить такое чудо? До сих пор я думал, что его не должны интересовать вопросы философии. С работой Авенариуса в одну неделю ознакомиться нельзя. Дам вам ее на две недели с условием точно возвратить в указанный срок...

...Собранные мною книги были отнесены Ленину, а три дня спустя в столовой Лепешинских кто-то, насколько помню, жена Гусева, передала мне, что видела Ленина: «Он хочет, чтобы вы пришли к нему, собируется вам намылить голову». Намылить голову? Что такое я сделал, за что мне нужно «намылить голову»? Ленин встретил меня не по-обычному, а с бросившейся в глаза неприятной сухостью. И тут же передал принесенные ему книги.

— Возьмите, они мне больше не нужны.

— Неужели вы их прочитали? — воскликнул я.

В них было не менее 1200 страниц. Это не роман, не легкое чтение, в два с половиной дня одолеть их невозможно. Вместо ответа Ленин вынул из кармана несколько листков.

— Это вам от меня на память небольшой меморандум. Маленький щелчок по вашим горе-философам, с которыми вы, несомненно, хотите начать ревизию марксизма. Для меня теперь ясно, что пребывание в семинарии Булгакова и знакомство с ним для вас не прошло бесследно. Вы, вслед за ним, тянетесь противопоставить материализму негодную, путаную, идеалистическую теорию. Я вас предупреждаю: из этого, кроме позора, ничего получиться не может.

Сознательно пропуская мимо ушей намеки на пленение меня Булгаковым, я сказал:

— В вашем меморандуме, придя домой, постараюсь основательно разобраться, пока позвольте бросить на него беглый взгляд.

В этом документе, *in spe*, в зародыше, заключены все главные положения написанной в 1908 г. книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В «мемо-

рандуме» было одиннадцать небольших страниц на блокноте, с большими, особенно с 8-й страницы, просветами между строками. На первой странице — в качестве заголовка, дважды подчеркнутого, крупными буквами, стояло: «Idealistische Schrullen», а затем следовало доказательство, что философия Маха — невежественная «галиматья», отрицающая существование объективного, независимого от нас материального мира. Пробежав бегло «меморандум», я немедленно убедился, что Ленин из принесенных ему книг перелистал лишь Маха и, абсолютно не поняв его взгляды, превратил их действительно в галиматью. До книг Авенариуса он, видимо, даже и не дотронулся. Что же касается философских, если можно так выразиться, взглядов самого Ленина, они были изложены в конце меморандума, от них разило примитивностью самого наивного обывательского материализма. В сочинениях Ленина до сих пор никогда не было намека на философские проблемы, поэтому до его «меморандума» мне в голову не могло прийти, что в этой области он так пуст и детски беспомощен. Можно было подумать, что он никогда не держал в руках ни одной истории философии, ни одной книги по психологии и психофизиологии. Все-таки особого умаления Ленина я в том видеть не хотел, говорю о начале моего спора с ним. По моему мнению, это лишь показывало, что быть энциклопедистом нельзя, что Ленин, занятый изучением политических и экономических вопросов, не имел времени заглянуть в другие области. Мало ли чего мы не знаем! Естествознание, техника поважнее философии, а подавляющее большинство марксистов их не знает. Все-таки из незнания не нужно делать добродетель и воображать, что можно мне или кому-нибудь другому «намылить голову» простыми окриками. Философские взгляды Плеханова я считал безобразными, но он все-таки штудировал философию, тогда как у Ленина в меморандуме ни малейших следов какого-либо знания этих вопросов. Проникаясь подобными рассуждениями, я очень спокойно заметил Ленину:

— Критика в вашем меморандуме Маха мне напомнила некоего Энгельмейера — переводчика «Научно-популярных очерков» Маха, вышедших в Москве три года назад. В своем предисловии он, как и вы, утверждает, что Мах, хотя он физик и естествоиспытатель,

тель, отрицает существование внешнего материального мира и доказывает, что ничего, кроме субъективных ощущений человека, не существует. Раз это так, восклицал Энгельмейер, тогда у меня нет ни родителей, ни положения в свете, ни собственности, ничего, кроме ощущений. Энгельмейер смешивает ощущения с представлениями, мышлением, чувствами. Он явно не понимает, что данность, наличность ощущения говорит об обусловленности его чем-то извне. Если нет, например, источника тепла и света, никакие фокусы, никакое напряжение воли не могут вызвать в человеке ощущения тепла и света. Но такое же непонимание двести лет перед этим испытывала и по сей день испытывает философия Беркли. Его также обвиняли в отрицании внешнего мира и критики, издеваясь над ним, предлагали ему пройти над пропастью или удариться головой о столб. А между тем в странной, на первый взгляд непонятной, формуле Беркли «esse est percipi» заложена не метафизика, а острый анализ и глубочайший реализм.

Ленин подскочил, услышав «esse est percipi». Эта формула повергла его в какое-то злобное раздражение.

— Вы явно, — крикнул он, — не отдаете себе отчета, что значит *esse est percipi*. Вы, очевидно, абсолютно не знаете латинский язык, не понимаете, что, восхваляя дурацкую формулу, вы тем самым защищаете чушь и галиматью. Если без вывертов и выкрутасов перевести с латинского языка на русский язык *esse est percipi* — это будет означать, что все существующее есть лишь восприятие, т. е. лишь субъективное ощущение. Человек, строящий на одном только ощущении свою философию, безнадежен. Его нужно отправить в сумасшедший дом. Мир внешний, мир материи существует вне нас, независимо ни от каких восприятий и ощущений. Если ваш Мах не знает этой истины материализма, его нужно назвать круглым дураком. «*Esse est percipi*» — нужно же подхватить такую дикую чушь и носиться с нею.

< . . . >

Развернув «*Der Menschliche Welt begrieff*», я попросил Ленина вдуматься в следующие слова Авенариуса: «Мы можем представить себе такую среду, в которой нет и никогда не было никакого индивида, но, пред-

ставляя или мысля эту среду, мы никак не можем откинуть себя, центрального члена, который представляет, который мыслит эту среду. Что мы можем сделать — так это: или игнорировать себя, или вообразить время, когда не было ни одного существа. Однако как в том, так и в другом случае мы все равно будем налицо, то как сознательно вопрошающие зрители, то как зрители, которые так увлеклись зрелищем, что забыли о себе».

— Что вы скажете по поводу этого? — спросил я Ленина.

— Скажу, что это чушь, геллертовские выверты, Schrullen, не имеющие для науки никакой цены.

Было ясно, что мы говорим на разных языках. Наш спор затем длился более двух с половиной часов, и стена между нами подымалась все выше. Моментами это была настоящая буря: Ленина охватывало ничем не сдерживаемое бешенство, и по адресу Маха, целясь, конечно, в меня, он, не стесняясь, кидал град выражений вроде: дичь, идиотские выверты, темнота, дребедень, невежество, глупость, бессмыслица, идеалистическая чепуха, жалкая болтовня и т. д. Начав спорить очень спокойно, я тоже стал раздражаться, и чем дальше, тем все более. Я стал говорить с Лениным тоном, лишенным почтительности, которую перед ним до этого проявлял, как все большевики. На замечание Ленина, что, разделяя взгляды Маха, непременно приду к ревизионизму и отрицанию марксизма, я ответил ему: «Пожалуйста, оставьте в покое ревизионизм. Спор идет не о нем, а о том, есть ли дважды два — четыре или, как вы доказываете — пять. Приплетая сюда ревизионизм, вы из области, в которой очень слабы, хотите уйти и ловко повернуть в область, где вы очень сильны».

Еще более резко я ответил Ленину, когда после моей ссылки на некоторых философов (на Фейербаха и Петцольта) он саркастически заметил: «Не уподобляйтесь тургеневскому Ворошилову, не думайте пронять меня «образованностью». Философией меня не напугаете, я сам ею достаточно занимался в ссылке в Сибири».

— Вот что уже совсем не видно! — воскликнул я. — Значит, не в коня корм пошел. Не пробуйте ваш авторитет перенести в область философскую, на такой перенос я никак не могу согласиться.

Словом, я взбунтовался. Это лишь усиливало раздражение Ленина. Из всего, что он говорил, было несомненно, что его благоволение ко мне испарилось, исчезло без остатка в самый короткий срок в процессе спора. Несколько дней до этого он с доверием поручал «Н. Нилову» выполнение секретного плана, теперь на того же Нилова он смотрел уже как на врага. Я не мог понять, что, в его глазах, больше всего превращает меня в врага? То ли, что я взбунтовался, т. е. вышел из большевистского состояния признания и подчинения его авторитету, то ли, что, будучи «махистом», обнаруживаю «реакционный обскурантизм», несовместимый с философским материализмом, иначе говоря, совершая преступление против марксизма, за которое, по его словам, человека нужно бить «по морде» и «лепить на нем бубновый туз». Раздражение Ленина дошло до того, что он стал с руганью прерывать меня на каждой фразе, на что, озлобясь, я крикнул ему: «Или вы перестанете прерывать меня окриками и ругательствами и будете культурно вести спор, или, если это для вас невозможно, я уйду!»

Ленин, словно кто-то его дернул, сразу переменял тон, иронически сказав: «Говорите, я постараюсь «культурно» слушать и вас не прерывать».

И действительно, после этого, но то было уже в конце нашего спора, он ни разу не прервал меня. Передать все, о чем мы в течение более двух с половиной часов спорили, нет ни возможности, ни надобности. Остановлюсь лишь на том, что предшествовало концу спора. Я все время пытался обратить внимание Ленина на разные ценные стороны эмпириокритицизма: на теорию познания, которую развивает Авенариус, рассматривая центральную нервную систему и ее колебания; на биологическую основу познания, на принцип экономии сил в мышлении, на требование так называемого «чистого опыта», на глубочайший реализм предпосылок Авенариуса и Маха. Ленин, не желая это слушать, все отпихивал, говоря: «Перейдем теперь к главному», а главное он видел в непримиримости материализма с «идеалистической галиматьей Маха». Ссылаясь на Плеханова и Энгельса, он в следующем виде формулировал «великую истину материализма». Вне нас и совершенно независимо от нас существует мир материальных вещей; воздействуя на наши орга-

ны чувств, они порождают в нас ощущения, благодаря чему мы узнаем свойства вещей. Эта «великая истина» есть, конечно, только маленькая обывательская философия. С нею можно прекрасно жить, она никому не мешает, но, что бывает почти со всеми обывательскими истинами, начинает немедленно тускнеть при малейшем анализе. Ленину был чужд этот анализ, и, в сознании полного обладания «великой истиной», он с презрением отвергал «галиматью» Маха. Механически вырывая одну цитату из его книги, упорно игнорируя (видимо, не читая) сопутствующие ей объяснения, он, в своем «меморандуме» и непрерывно в течение спора, твердил: «Мах пишет, что не тела, не материальные вещи вызывают в нас ощущения, а, наоборот, ощущения образуют тела. А ну-ка, попробуйте доказать, что это не дичь, не идеалистическая болтовня?»

< . . . >

Ленин возвратился, держа в руках журнал «Socialiste» со статьей Лафарга «Материализм Маркса и идеализм Канта». В назидание мне он прочитал из статьи нижеприводимое место, которое я привожу в его переводе (ужасном переводе). К моему ошеломлению, именно эту цитату он счел нужным в качестве чего-то глубокого и остроумного привести четыре года спустя в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм».

— Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что колбаса приятна и питательна для тела. Ничего подобного, говорит буржуазный софист, все равно зовут ли его Пирсоном, Юмом или Кантом. Мнение рабочего на этот счет есть его личное, т. е. субъективное, мнение, он мог бы с таким же правом думать, что хозяин его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать вещи в себе.

У меня волосы стали дыбом от лафарговской философии.

Теряя контроль над собой, я резко прервал Ленина и не стал слушать; на этот раз не он, а я пришел в бешенство.

— Так как эту рубленую кожу,— крикнул я,— вы считаете украшением материалистической философии — дальнейший спор с вами излишен и бесплоден.

Ленин сначала опешил, а потом ответил:

— Совершенно верно, разговор с вами не нужен и бесполезен.

Схватив книги, что приносил Ленину, я выбежал на улицу. Идя домой в самом собачьем настроении, я думал: кубарем выкатился от Плеханова, точно облитый кипятком выбежал от Ленина. Здесь дело не в одном только расхождении в области философии. Здесь причиной — невероятная нетерпимость наших вождей и больше всего дикая нетерпимость Ленина, не допускающего ни малейшего отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений. Могу ли я при этих условиях быть членом большевистской организации, во всем беспрекословно следующей за Лениным.

< . . . >

Не могу окончить воспоминания о встречах с Лениным только словами, что я ушел из большевистской организации. Философские дебаты с Лениным, мои и других, имеют большое продолжение, а главное — историческое заключение, похожее на вымысел, на бред, пораженного сумасшествием мозга.

«Меморандум», как назвал Ленин врученную мне тетрадку в 11 страниц, следует назвать, если не считать двух ругательных писем по адресу Канта (судя по всем признакам он остался им не прочитанным), посланных в Сибирь, Ленгнику, — первым «философским произведением» Ленина, во всяком случае, его первым выступлением против «махистов»...

...Меморандум Ленина тем интересен, что он в своем роде краткая «пролегомена» к «имеющей» в будущем появиться книге. В нем, как и в том, что я слышал от Ленина в июне на rue du Fouet и в сентябре на quai Montblanc, заложены все основные «гносеологические» мысли написанной им в 1908 г. книги «Материализм и эмпириокритицизм» с подзаголовком «заметки об одной реакционной философии». Для этой книги, составленной с невероятной быстротой в Женеве, Ленин в Лондоне, в Британском музее, привлек груды произведений. Мы находим у него выдержки и ссылки на Маха, Авенариуса, Петцольта, Карстаньена, Беркли, Юма, Гексли, Дидро, Вилли, Пуанкаре, Дюгем, Лесевича, Эвальд, Вундта, Гартмана, Фихте, Шуппе, Шуберт Зольдерн, Дицгена, Фейербаха, Грюна, Ремке, Пирсо-

на, А. Рея, Каруса, Овальда, Ланге, Риккерта и на легион других. За полгода, потраченные Лениным на составление книги, и тем более за три недели визитов в Британский музей, он не был в состоянии с должным вниманием прочитать множество книг неизвестных ему философов. В его «Философских тетрадах» — о них речь позднее — есть такая фраза: «...кажись, интересного здесь нет, судя по перелистыванию». Этим методом — «перелистыванием», примененным к 1200 страницам мною принесенных ему сочинений Авенариуса и Маха, он, несомненно, пользовался и в отношении подавляющего числа им указываемых философов. Он не столько читал их, сколько «перелистывал», с целью найти там нечто «интересное», на что он мог бы накинуться коршуном.

Не в этом одном оригинальность его книги. Она составлялась в пылу ража, состоянии, столь характерном для Ленина. В письме к М. Горькому он писал, что, читая «распроклятых махистов» (русских), бесновался от негодования. Я скорее себя дам четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе или коллегии, подобные вещи проповедующей». Беснование сделало книгу Ленина уникалом — вряд ли можно найти у нас другое произведение, в котором была бы нагромождена такая масса грубейших ругательств по адресу иностранных философов — Авенариуса, Маха, Пуанкаре, Петцольта, Корнелиуса и других. Ленин тут работал поистине «бубновым тузом». У него желание оплевать своих противников; он говорит о «ста тысячах плевков по адресу философии Маха и Авенариуса». По выходе книги Ленина рецензент «Русских Веромостей» (Ильин) писал, что в ней «литературная развязность и некорректность доходят поистине до геркулесовых столбов и переходят в прямое издевательство над самыми элементарными требованиями приличия». Л. И. Ортодокс-Аксельрод (ее рецензия в «Современном Мире»), хотя и была в области философии единомышленницей Ленина, тоже возмутилась грубостью его книги. «Уму непостижимо, — восклицала она, — как это можно нечто подобное написать, а написавши, — не зачеркнуть, а не зачеркнувши — не потребовать с нетерпением корректуры для уничтожения нелепых и грубых сравнений». Ортодокс не знала, что перед нею был текст после «корректуры», т. е., по настоянию сестры

Ленина, уже подчищенный и сильно смягченный. Трудно даже себе представить, что в нем было до исправления!

Чем же объяснить раж и беснование, с которыми Ленин составлял свою книгу? В ней он писал:

«Ни единому из профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях — химии, физике — нельзя верить ни в одном слове, когда речь идет о философии. Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать самые ценные работы в области специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, когда речь заходит об общей теории политической экономии. Ибо эта последняя такая же партийная наука в современном обществе, как и гносеология. В общем профессора-экономисты не что иное как ученые приказчики класса капиталистов, а профессора философии приказчики теологов».

Такая декларация — а в связи с нею я не могу не вспомнить плехановских ведьм с красными, желтыми и белыми глазами! — полна важных и, как увидим в дальнейшем, страшных выводов. Если ни одному философу нельзя верить ни в едином слове — тогда совершенно ясно, с каким априорным презрительным отрицанием всего того, что они писали, должен был их читать Ленин. Мог ли он делать серьезные усилия понять Авенариуса или Маха, когда он заранее был убежден, что ни единому слову их верить нельзя? «Философская сволочь», как Ленин называл всех, не разделяющих гносеологию диалектического материализма, по самой природе своей обладать истиной не способна. Познание законов общественной жизни, общей теории политической экономии — именно потому, что гносеология, теория познания вообще есть партийная наука — может быть только привилегией партии, возглавляемой Лениным. С этой точки зрения, самый малюсенький большевик всегда выше самого большого «буржуазного» ученого или философа. Обладание, подобно церкви, истиною позволяет членам партии видеть в себе существ особой, высшей породы, касты, принцев духа, носителей «объективной истины». Теория Маркса, возглашал Ленин, есть объективная истина, а все вне ее — «скудоумие и шарлатанство». «Поэтому потуги создать новую точку зрения в философии характеризуют та-

кое же нищенство духа, как потуги создать «новую теорию стоимости», «новую теорию ренты» и т. д.».

Это речь изуверского, застойного, реакционного консерватора, это глагол «великого дракона» Ницше: «Все, что есть ценность, уже блесит на мне. Все ценности уже созданы, и это я представляю все сотворенные ценности». Впрочем, здесь не великий дракон Ницше, а просто наш русский XVII века протопоп Аввакум:

«Как в старопечатных книгах напечатано, так я держу и верую, с тем и умираю. Держу до смерти якоже приях. Иже кто хоть малое переменит — да будет проклят».

При такой психологии Ленина становится понятным его «беснование», когда «за полгода 1908 г.» вышли четыре книги, вносящие новшество в старопечатные книги, посвященные, замечает Ленин, «почти всецело нападкам на диалектический материализм», — это «Очерки по философии марксизма» — сборник статей Богданова, Базарова, Луначарского и других, затем книги Юшкевича «Материализм и критический реализм», Берман «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова «Философские построения марксизма». В глазах Ленина это восстание «нищих духом» против «партийной гносеологии» (вся она, как копейка на ладони, на двух последних страничках «Меморандума»!), это бунт, внушенный Махом и Авенариусом, т. е. философской сволочью, ни единому слову которой верить нельзя. Ленин особенно возмущен тем, что в бунте принимают участие большевики, и на первом месте А. А. Богданов, еще недавно «дорогой друг» Ленина, вместе с ним возглавлявший большевистскую организацию. Главные удары дубинки Ленина направлены, конечно, на этих большевиков-еретиков, — и лишь попутно, так сказать, боковым заездом на меньшевиков — Юшкевича и Валентинова*.

* Когда меня именуют меньшевиком или мне самому — ради упрощения — приходится называть себя меньшевиком, я всегда испытываю неловкость, точно чужой титул краду. По признанию меньшевиков и по собственному ощущению, я всегда был очень плохим меньшевиком, чаще неменьшевиком — и никогда не играл в партии сколько-нибудь видной роли. Летом 1917 г. после столкновения с представителями Московского комитета меньшевиков (в 1922 г. ставших коммунистами) я вышел из партии. Сближение с их заграничной частью произошло уже после 1946 г.

Он считал, что этими отщепенцами должен заняться «меньшевик» Плеханов, заботившийся «не столько об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму, и за это поделом наказанный двумя книжками меньшевиков-махистов».

Хорошо помня, какими выражениями Ленин сокрушал меня в Женеве, я мог ожидать, что найду их и в его книге. Этого не случилось благодаря его сестре А. И. Елизаровой. Получив рукопись Ленина, придя в ужас от груды рассыпанных в ней ругательств и даже просто неприличных выражений, она стала его упрасивать многое выкинуть, а многое смягчить. Идя навстречу просьбе сестры, Ленин (письмо от 19/XII 1908 г.) согласился выбросить «неприличные выражения», а другие смягчить, но сделать это только в отношении большевиков Богданова и Базарова, но не меньшевиков — Юшкевича и Валентинова. Однако мне достоверно известно, что А. И. Елизарова все-таки сильно смягчила ругательства по адресу и Юшкевича и моему. После «смягчения» я мог в его книге найти «только» то, что я «путаник» и «Ворошилов», читал Дицгена и письма Маркса к Кугельману как «гоголевский Петрушка», протанцевал «публично канкан» по поводу неудачной фразы Плеханова, «хулигански» выругал некоего материалиста Рахметова (позднее стало известно, что он агент охранки), как «младенец» поддался «мистификации Авенариуса», и прочее в том же духе. Ленин в злобе на меня использовал даже опечатки в моей книге. Все, что я в ней писал о Беркли *un esse est percipi*, он называл «бессмысленным набором слов». «Валентинов, смутно сознавая фальшь своей поэзии, постарался замести (?) следы своего родства с Беркли. Валентинов путает, он не умел дать себе ясного отчета о том, почему ему пришлось защищать «вдумчивого аналитика» — идеалиста Беркли от материалиста Дидро. Дидро отчетливо противопоставил основные философские направления. Валентинов путает их и при этом забавно утешает нас: мы не считаем за философское преступление близость Маха к идеалистическим воззрениям Беркли».

Возвращая Ленину его слова, мог бы сказать, что он нанизывает бессвязный набор слов. Беркли я по сей день считаю философом выше Канта, о сравнении с Дидро не может быть и речи, почему мне тогда «заме-

тать» следы своего с ним «родства», тем более что не считаю это за философское преступление?

Ленин придавал своей книге огромное значение. «Поработал я много над махистами и все их (и «эмпириомонизма» тоже) невыразимые пошлости разобрал», — самоуверенно писал он своей сестре Марии. Нужно читать его письма к другой сестре — Анне, чтобы видеть, как его «изнервливает» всякое замедление в выпуске этой им рассчитанной на оглушительный эффект книги.

«Об одном и только об одном я теперь мечтаю и прошу — об ускорении выпуска книги».

То же самое и в другом письме:

«Мне дьявольски важно, чтобы книга вышла скорее».

Как и в других случаях, вся мысль его судорожно направлена на то, чтобы скорее, скорее осуществилось его желание. Он впадает в панику, если запаздывает присылка корректур. Он буквально в отчаянии, когда в Париже, куда он приехал из Женевы, вспыхивает забастовка почтовых служащих, поэтому нет почты из Москвы, нет корректурных листов. С вздохом облегчения и радости он встречает окончание забастовки.

«Наконец! А то хорошее пролетарское дело здорово мешало в литературных наших делах».

Он непременно хочет, чтобы книга вышла к 10 апреля 1909 г. Почему именно к этой дате? Не потому ли, что это день его рождения?

«Прошу, — пишет он сестре, — нанять себе помощника для специальных посещений типографии и подгоняния ее. Обещать ему премию, если книга выйдет к 10 апрелю. Необходимо, помимо издателя, действовать на типографию. Сотни рублей не жалеть на это. Без взятки с российским дубьем не обойтись. Дать 10 рублей метранпажу, если книга выйдет к 10 апрелю».

Нежданное и негаданное появление Ленина в качестве «философа партии» вместо молчащего Плеханова, уклонявшегося вступить в серьезную борьбу с «махистами» и ограничивающегося мелкими отписками, эффекта не произвело. Многие отнеслись к книге — как к курьезу. Главные противники Ленина — Богданов и Базаров — ответили Ленину несколькими страничками, подчеркивая, что уровень понимания им философских

проблем таков, что полемика с ним бесполезна. Несколько больше, но с тем же указанием, ответил Ленину Юшкевич. Я ничего не ответил — мой роман (или флирт?) с философией в 1909 г. кончился и уже не было никакого желания вступать в полемику, снова оживляя отмененные сознанием вопросы. Но для меня было ясно, что книга Ленина свидетельствует о продолжающемся упорном, как в 1904 г., непонимании им ряда гносеологических положений. Например, по поводу указания, что мы можем представить себе время и среду, когда не было человека, но, мысля эту среду, — никак нельзя откинуть себя, эту среду мыслящего, — Ленин со злостью отвечал, что «допущение, будто человек мог быть наблюдателем эпохи до человека — заведомо нелепое». Вместе с тем он утверждал, что у нас есть «объективное знание об этой эпохе, ибо «объективная истина», проявляющаяся в «человеческих представлениях, не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества». Словом, он защищал замечательную гносеологию — познание без того, кто познает. Покорно следуя за Лениным, такую чепуху по сей день продолжает защищать, вернее, принужден защищать, например, Дудель в статье «Познание мира и его закономерности» (см. «Вопросы философии», 1952, № 3, изд. Акад. наук). В своих воззрениях материалистка Ортодокс-Аксельрод стояла на стоне Ленина, и все же и она, наряду с порицанием грубости его полемики, должна была признать, что в аргументации Ленина «мы не видим ни гибкости философского мышления, ни точности философских определений, ни глубины философских проблем».

Неприятность шла и со стороны распространения книги. Следующий за нее гонорар Ленин полностью получил, но расходилась она весьма плохо, гораздо хуже, чем произведения «распроклятых махистов». Ни большого шума, ни большой полемики, ни большого интереса она не возбудила. Ленин этим был несколько обескуражен. Нельзя пройти и мимо следующего обстоятельства. Как ни старался он, пользуясь «бубновым тузом», отпихнуться от прочитанных или «перелистованных» сочинений «философской сволочи» — все-таки кое-что от них в его мозг скакнуло: блохи раздумья! А, в дополнение, насмешливый и презрительный тон отзывов об его книге, вероятно, стал на-

водить Ленина на мысль, что не все благополучно в его воинствующем материализме. Нет ли каких-либо дефектов, делающих его, по позднейшей характеристике Ленина, «не столько сражающимся, сколько сражаемым? Не следует ли кое-что получше обдумать, повисить умение обращаться с философскими проблемами, увеличить вообще свое философское знание?

В 1913 г. публикуется переписка Маркса с Энгельсом о диалектике и толкает Ленина на размышления о философских вопросах. В 1914 г. он пишет очерк о мировоззрении Маркса в Энциклопедический словарь Граната и снова наталкивается на те же вопросы. В конце концов, чувствуя, что от них трудно уйти, Ленин, живя в Берне и Цюрихе, отрывает время от других занятий и в 1914—1916 гг., почти накануне революции, впрочем, ее — что можно доказать — он совсем не ожидал, пробует пополнить свое знание, лучше сказать: устранить свое незнание философии. На этот раз он не «перелистывает» книги, а — как прилежный юноша, «с карандашиком» в руках, так, как в свое время в Кокушкине читал Чернышевского, — делает из прочитанного конспекты: «Метафизики» Аристотеля. «Лекций о сущности религии» Фейербаха, о философии Лейбница и некоторых других. Но главное его внимание отведено «Логике» и «Лекциям по философии истории» Гегеля. Все эти конспекты, выдержки из прочитанного с сопутствующими им замечаниями составляют так называемые «Философские тетради» Ленина, его философский дневник, к печати не предназначенный, но после его смерти частично опубликованный в 1929 г. и полностью в 1933—1936 гг. Это вещь весьма любопытная и малоизвестная. С особой силой пробудившееся у Ленина внимание к Гегелю понятно. Он чувствует, что не может собственными силами поставить крепко на ноги «партийную гносеологию», ему обязательно нужно к кому-нибудь прислониться, но к кому — раз ни одному философу ни в едином слове верить нельзя? В области философских воззрений Ленин доверял Чернышевскому, Марксу, Энгельсу, Плеханову, а все они были гегельянцами. Ленин после чтения переписки Маркса и Энгельса о диалектике убедил себя, что «нельзя вполне понять «Капитал» Маркса, и в особенности его первые главы, не протрудившись и не поняв «Логики» Гегеля. По его

убеждению, этого никто (Плеханов, замечает он, не составляет исключения) не сделал — «следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя».

Бедные марксисты, клянутся Марксом, а на поверку оказывается, что никто из них его не понял. Ленин хочет быть первым марксистом, действительно понявшим Маркса, а для этого ему нужно во что бы то ни стало одолеть Гегеля. И он действительно штудирует Гегеля и с великим почтением делает из «Логики» множество выписок. Некоторые из них (в переводе Ленина) замечательны. Например:

«Воспроизводство человека есть их (двух индивидов разного пола) реализованное тождество, есть отрицательное единство рефлектирующего в себя из своего раздвоения рода».

Или другая:

«Становление в сущности, ее рефлектирующее движение, есть движение от ничто к ничто и тем самым к себе самому».

Третья выписка тоже неплоха:

«Камень не мыслит и потому его ограниченность не есть граница для него. Но и камень имеет свои границы, например, окисляемость, если есть способное к окислению основание».

Таковыми выписками заполнен конспект Ленина, и подобной абракадаброй с самым серьезным видом занимается в 1915—1916 гг. тот самый «Владимир Ильич», в который в 1908 г. при первой же неясной для него фразе, мысли Авенариуса или Маха кричал о «галиматье» и «бессвязном наборе слов». Понимал ли Ленин то, что с таким прилежанием выписывал из Гегеля? На стр. 104 своих тетрадей он пишет:

«Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически, т. е. выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею» и т. д.

Выкинув все это из Гегеля — многое ли и что от него останется? А допустив, что нечто останется, — понятен ли Ленину этот остаток? Для ответа приведем отзывы и замечания, которые, читая Гегеля, он делал на страницах своей тетради: стр. 104 — «ахиня»; стр. 108 — «изложение сугубо темное»; стр. 113 — «почему для себя бытие едино — мне неясно. Гегель сугубо темен», на той же странице — «темная вода»;

стр. 114 — «Это производит впечатление большой натянутости и пустоты»; стр. 116 — «переход из количества в качество (а ведь это один из главнейших пунктов! — Н. В.) до того темен, что ничего не поймешь»; стр. 117 — «все это непонятно», «сугубо темно»; стр. 124 — «переход бытия к сущности изложен сугубо темно»; стр. 133 — «очень темно».

Находя и на следующих страницах «тьму темного», Ленин вспоминает, что Пирсон назвал писания Гегеля «галиматьей», и соглашается:

«Он прав. Это учить нелепо. В известном частичном смысле это на 9/10 шелуха».

Девять десятых — уже не частица, а почти все. Но охота пуще неволи, нельзя ведь понять Маркса, не проштудировав Гегеля, и потому Ленин продолжает копаться в шелухе, сопровождая штудирование такими замечаниями: стр. 152 — «обще и туманно»; стр. 166 — «Гегель уверял, что знание есть знание Бога. Материалист отсылает Бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму»; стр. 169 — «ха-ха!»; стр. 170 — «неясность, недоговоренность, мистика»; стр. 171 — «эти части работы Гегеля должны быть названы: лучшее средство для получения головной боли»; стр. 178 — «чушь»; 180 — «ха-ха!»; стр. 196 — «мистика, мистика».

Штудирова Гегеля, Ленин все более и более приходит в раздражение: стр. 246 — «швах»; стр. 247 — «архипошлый, идеалистический вздор»; стр. 248 — «nil, nil, nil»; стр. 250 — «пошло, мерзко, вонюче»; стр. 258 — «архидлинно, пусто, скучно»; стр. 274 — «слепота, односторонность»; стр. 292 — «болтовня», «попался идеалист»; стр. 294 — «ха-ха», еще раз «ха-ха»; стр. 299 — «вздор, ложь, клевета».

Дойдя до места, где Гегель упрекает Эпикура в игнорировании конечной цели бытия — мудрости творца, Ленин раздражается руганью:

«Бога жалко! Сволочь идеалистическая!»

Если «Логика» Гегеля наполнена «темнотой», «шелухой», «вздором», «мистикой», «пошлостью», «чушью», — кстати, именно такими выражениями хлестал Ленин Маха и Авенариуса! — если отец диалектики Гегель, как в том на стр. 289 его обвиняет Ленин, «не сумел понять (а Ленин понял?) диалектического перехода от материи к движению, от материи к созна-

нию», не сумел показать переход количества в качество,— то на что тогда Гегель Ленину, чему он может у него учиться? Но известно, как насмешливо сказал Белинский,— русские люди издавна, с 40-х годов XIX столетия, «лезут под колпак Егора Федоровича Гегеля. Герцен говорил, что человек, не прошедший... через горн и закал «Феноменологий» Гегеля, неполон и несовременен, ибо «Философия Гегеля — алгебра революции». Семью десятками позднее нечто вроде этого говорит о гегелевской «Логике» Ленин: «Нельзя понять «Капитал» Маркса, не проштудировав «Логику» Гегеля. Ленин немилосердно ругает Гегеля и в то же время льнет к нему, хотя временами кажется, что он это делает, точно повинуясь какому-то приказу, толчку извне. Ряд выписок из Гегеля Ленин сопровождает восторженной похвалой: «великолепно», «замечательно», «верно и глубоко», «очень умно», «очень верно» и так далее в том же духе. Что замечательного и великопного находит Ленин в некоторых цитатах из Гегеля — явной абракадабры,— понять невозможно, но Ленин, несомненно, чему-то учился у того, кого элегантно называет «идеалистической сволочью». Влияние на Гегеля сказывается в резком изменении взгляда на Плеханова, в течение многих лет в его глазах — столпа диалектического материализма. «Философские тетради» сводят почти к нулю авторитет Плеханова. Ленин находит, что во всем написанном Плехановым по философии нет «ничего»; «nil» о большой (гегелевской) логике, т. е. собственно о диалектике как философской науке.

«Диалектика,— заявляет Ленин,— есть теория познания Гегеля и марксизма. Вот на какую сторону дела (это не сторона «дела», а суть дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах».

Наряду с этим заявлением, неожиданно делающим идеалистическую и метафизическую теорию познания Гегеля — гносеологией марксизма, очень характерно и другое заявление Ленина:

«Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще) с вульгарно-материалистической точки зрения». Sapienti sat! Такое замечание свидетельствует, что прежние взгляды на материализм у Ленина под влиянием Гегеля ломаются, о чем, в подтверждение, можно судить и по фразе на его устах прежде невоз-

можной: «Умный идеалист ближе к умному материализму, чем глупый материализм» («Философские тетради», стр. 282).

Еще совсем недавно, о том говорит вся его книга «Материализм и эмпириокритицизм», Ленин при слове «философский идеализм» приходил в ярость. Для него это была поповщина, фидеизм, «реакционная теология», «принаряженная чертовщина», «игра с боженькой», придуманная приказчиками капитализма. В своих тетрадях он уже берет идеализм под свою защиту, говоря, что «философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического». «Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека». «Философский идеализм есть односторонне преувеличенное развитие (раздвоение, распускание) одной из черточек, стороны, граней познания в абсолют». «У поповщины (философского идеализма), конечно, есть гносеологические корни, она не беспочвенна».

Вот такую прогулку в далекие метафизические дебри совершил Владимир Ильич Ленин под руку с Егором Федоровичем Гегелем. О ней, разумеется, запрещено говорить в Москве и во всех подчиненных ей коммунистических столицах.

Из материализма, но уже не плехановского, а того, что не должен быть «грубым, простым, метафизическим», и из «умного идеализма», выжимаемого из «Логики» Гегеля, Ленин в своих «Философских тетрадях» начал фабриковать «партийную гносеологию», новую разновидность метафизики в виде некоей диалектической, с «самодвижением всего сущего», онтологии. Жаль, что до сих пор никто из критиков Ленина не рассмотрел этот этап в его «философии». Для его уразумения крайне интересно проанализировать содержание сделанных им извлечений из Гегеля, особенно тех, что сопровождаются возгласами: «великолепно», «замечательно», «верно», «тонко и глубоко» и т. д. Здесь для этого, конечно, нет места, и все-таки не могу удержаться от того, чтобы, хотя бы мельком, указать, как резко отошел Ленин от главной гносеологической посылки своего материализма.

— Нужно быть идиотом, как ваш Мах, чтобы не

признавать вещей в себе, — мне говорил, вернее, рычал Ленин на rue du Foyet в июне 1904 г.

«Вещь в себе», в его глазах, выражаясь словами Разумихина у Достоевского, была «якорем, пристанищем, пупом земли». На вещи в себе, подобно лепесткам на наши органы чувств, вызывает ощущения. Признание вещи в себе для Ленина тождественно с признанием объективного, материального, независимого от нас мира. Материализм — есть «признание объектов в себе, вещей в себе». Поэтому Кант выступает как материалист, когда постулирует вещь в себе, но он выступает как идеалист, объявляя, что вещь в себе непознаваема. Яростно защищая вещь в себе в своей книге, Ленин писал, что эта «вещь в себе настоящая *bête noire* Богданова и Валентинова, Базарова и Чернова, Бермана и Юшкевича. Нет таких крепких слов, которые бы они не посылали по ее адресу, нет таких насмешек, которыми бы не осыпали ее».

Много ли остается от этой вещи в себе в 1915—1916 гг., когда Ленин «перепахал» Гегеля? Ровно ничего. Она отброшена, похоронена. Ленин послушно выписывает все, что о вещи в себе говорит Гегель, и без критики и сопротивления это принимает.

«Вещь в себе пустая и безжизненная абстракция».

«Вещь в себе — простая отвлеченность, не что иное, как ложная, пустая отвлеченность...»

«Вещь в себе — пустое отвлечение от всякой определенности, о коем, конечно, нельзя ничего знать, именно потому, что оно есть отвлеченность от всякой определенности».

«Вещь в себе имеет цвет, лишь будучи поднесена к глазу, имеет запах, будучи поднесена к носу».

Ленин со всем этим соглашается, похваливает, и ему особенно нравится указание, что «вещь в себе превращается в вещь для других». «Это очень глубоко», — замечает он. Еще немного, и он бы понял — *esse est percipi!*

С уничтожением вещи в себе изымается огромная гносеологическая часть материализма. Канта и Юма, после такой у себя произведенной ампутации, с прежней позиции критиковать уже нельзя. И Ленин понимает это: «Марксисты критиковали (в начале XX века) кантианцев и юмистов более по-фейербаховски и по-

бюхнеровски, чем по-гегелевски». О каких марксистах говорит Ленин? О Плеханове и себе.

Уже при жизни Ленина — правителя России — критика его книги «Материализм и эмпириокритицизм» не скажу, чтобы была запрещена, но стала крайне затрудненной. Чтобы не портить себе карьеры, например, Луначарский, призванный на пост комиссара народного просвещения, сделал вид, что эмпириокритиком никогда не был. То же самое сделал и Берман. В 1920 г. книга Ленина вышла вторым изданием, но он ни одним словечком при ее выпуске не обмолвился («Философские тетради» никому не были известны), что в ряде пунктов он ушел от прежних взглядов. В Кремле в свободные минуты он продолжает читать Гегеля, требует, чтобы ему доставили в русском переводе «Логик» и «Феноменологию», а в 1922 г. направляет в журнал «Под знаменем марксизма» письмо, являющееся как бы философским завещанием: изучайте Гегеля, его диалектику, его теорию познания. «Группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма», — писал Ленин, — должна быть на мой взгляд обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнить — материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым».

Обратите внимание на слова — материализм остается сражаемым. Форма выражения дипломатическая, однако ясно показывающая, что Ленин в это время считал материализм на том уровне его разработки, в каком он существовал до сих пор, в частности, в работах Плеханова, — философской теорией очень слабой. Ленин стал прекрасно понимать, что слаб и «сражаем» и тот материализм, который с такой яростью и самоуверенностью он проповедовал в своей книге. За годы, прошедшие со дня октябрьской революции, он опрокинул и раздавил большую часть своих прежних взглядов и истин, заменив их эмпирикой, выраженной формулой Наполеона — «On s'engage et puis on voit». И все-таки у Ленина не оказалось смелости открыто сказать, что он выбросил вон, как вещь негодную, весьма существенные части его философии 1908 г.

Что же произошло после смерти Ленина? Его «Материализм и эмпириокритицизм», с тем его содержанием, в котором, по убеждению самого Ленина, была не сражающаяся, а сражаемая, негодная часть,— стал обязательным Кораном не для одних только коммунистов СССР и советских граждан, а для всех коммунистов и граждан, для всей массы людей, подчиненных диктатуре Кремля. Кто в СССР или в сателлитских странах ныне посмеет заявить, что не разделяет философских взглядов книги Ленина? Если бы в июне 1904 г., когда я спорил с Лениным по поводу его меморандума — этой пролегомены будущей книги,— мне кто-нибудь, например Лепешинский, сказал, что превращенный в книгу меморандум будет внедряться как священное откровение в головы десятков миллионов людей России, Восточной Европы, Франции, Италии, Китая, Кореи,— я рассмеялся бы над «Пантейчиком» или, вернее, сказал бы ему, что анекдот его глуповат и даже смеха не возбуждает. И этот глупенький анекдот превратился в мировую быль! Трудно поверить, но это же факт!

В статье «Что такое махизм, эмпириокритицизм?», помещенной в «Правде» в номере от 24 декабря 1938 г., мы читаем:

«Сокрушающий удар по махизму и всем его разновидностям наносит «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)», написанная под руководством и при личном участии товарища Сталина. В ней вскрыта связь между политическим и философским ревизионизмом, выяснено всемирно-историческое значение защиты Ленина в борьбе против русских махистов теоретических основ марксистской партии, подчеркнута роль книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» в теоретической подготовке партии большевиков».

Достаточно заглянуть в эту знаменитую «Историю», именуемую ныне «гениальным произведением И. В. Сталина» (см. «Правда», № 1, октябрь, 1951 г.), и убедиться, что Сталин, человек с абсолютным незнанием философии, никак не мог сокрушить «русских махистов», а лишь на двух страничках (стр. 98 и 99 издания 1950 г.) пересказывает то, что о них говорил Ленин. И тем не менее, когда грозный палец Сталина указывает на Богданова, Базарова, Луначарского, Бермана,

Юшкевича, Валентинова и их «учителей Авенариуса и Маха», это действительно имеет смертоносное, сокрушающее значение, ибо тогда вопрос о них неминуемо переходит из области философии в ведение ГПУ — НКВД — МГБ. Из перечисленных выше «махистов» — кроме пишущего эти строки — уже никого нет в живых, но борьба с ними, их книгами (это теперь нелегальная, запрещенная литература) имеет «актуальное значение», так как махизм — один из наиболее непримиримых врагов «материализма», представленного в «гениальной книге» Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Коротко говоря, в империи Сталина махизм, эмпириокритицизм официально признаны «вредительством», вредителями, сталкивающимися с коммунистическим строем мысли и чувств, установленными диктатурой. Вредитель — это человек, который, попав в руки НКВД, может быть обвинен (и должен признаться) в самых невообразимых преступлениях — вызывал засуху, убивал скот бациллами чумы, отравлял советские города микробами. Как далеко можно идти на путях наговора — показывают московские процессы 1937—1938 г., где коммунисты Бухарин, Рыков, Каменев — еще недавно, в качестве членов Политбюро, стоявшие во главе управления страной, — были показаны как простые шпионы на службе иностранного капитализма. Во что в этой атмосфере сумасшедшего наговора, отсылающего нас к эпохе сжигания ведьм и казням за сношение с дьяволом, превращается «махизм», можно судить по уже цитированному номеру «Правды».

«Махизм, — заявила она, — пытались сочетать с марксизмом так называемые австромарксисты — О. Бауэр, Фридрих Адлер и др.».

Каков результат этого сочинения?

«Австромарксисты предали рабочий класс Австрии, подготовив вначале победу в Австрии австрийских фашистов, а затем прямую аннексию гитлеровской Германии».

Вот что такое махизм! Вот куда приводят идеи, изложенные венским физиком и естествоиспытателем Э. Махом в его книгах «Учение о теплоте», «Механика в ее историческом развитии», «Анализ ощущений»,

«Познание и заблуждение» и других. Э. Мах в письме ко мне (в 1910-м или 1911-м, хорошо не помню, оно пропало), очевидно узнав, в каком виде его изображал Ленин, писал, что находит непонятным и совершенно странным («unverständlich, ganz sonderbar») тот факт, что в России критика его научных взглядов перенесена на чуждую им политическую почву. Кто бы мог себе представить, что через двадцать два года после смерти Маха — он умер в 1916 г. — кремлевские философы узрят в его научных работах не более и не менее как скрытую «подготовку» аннексии Гитлером Австрии!

Такие же методы применены и для сокрушения вредительского «эмпириомонизма» Богданова, а философские энкаведисты его упорно называют «махистом», несмотря на то что «психоэнергетика» Богданова и ряд других тезисов уводят его от «махизма». В 1913—1917 гг. Богданов написал две книги «Тектологии» — с целью представить в них «всеобщую организацию науки». Он анализирует в них (тут заимствование у Авенариуса) стремление нашего мышления к равновесию, но не статическому, а динамическому, образующемуся в результате кризисов и столкновения различных состояний. Так как Богданов был намечен Лениным во главе листа «распроклятых махистов», не признающих материализма, эпигоны Ленина в желании опозорить имя Богданова и его философию ухватились даже не за теорию равновесия, а за слово «равновесие», чтобы заявить, что за ним скрывается вредительская, саботажная, антисоветская, антикоммунистическая политика.

«Эта лживая «теория равновесия», — настаивала «Правда», — была широко (sie!) использована троцкистами и правыми реставраторами для обоснования их контрреволюционных идей. «Теория равновесия» проповедовала равновесие частнокапиталистического и социалистического секторов народного хозяйства СССР, т. е. отказ от переделки мелкотоварного хозяйства, от ликвидации кулачества как класса. Уничтожающий удар «теории равновесия» нанес товарищ Сталин в декабре 1929 года. Он показал, что «теория равновесия» объективно имеет целью отстоять позиции индивидуального крестьянского хозяйства, вооружить кулацкие элементы «новым» теоретическим оружием

в их борьбе с колхозами и дискредитировать позиции колхозов».

Читая подобные вещи, это превращение гносеологических идей Маха, Авенариуса, Богданова во вредительское оружие кулацких элементов, в подготовку гитлеровской аннексии Австрии (аннексируется она-то теперь Кремлем!), — испытываешь чувство, будто находишься среди сумасшедших. Хочется думать, что это только кошмарный сон, — увы, это явь. Все обвинения во вредительстве составляются именно таким сумасшедшим способом, и заметим — все они инспирируются сверху, из Кремля, самым «великим Сталиным». Философию махизма, сверх уже ей приписанных вредительских свойств, он повелел объявить теорией шпионажа, поэтому каждого «махиста» считать врагом народа, шпионом на службе у иностранных капиталистических разведок. Если вы этому не верите — прочитайте следующие строки из той же статьи «Что такое махизм и эмпириокритицизм?»

«Махистами были меньшевики Валентинов, Юшкевич, Гельфонд, и к меньшевикам в годы реакции перешел бывший большевик Базаров, осужденный в 1931 г. за вредительство. Был махистом — и всегда оставался на махистских позициях — будущий лидер правых реставраторов капитализма, враг народа, фашистский шпион Бухарин. Его сообщники по гестапо Рыков и Каменев, переходившие в лагерь врагов партии во все трудные моменты борьбы, занимали примиренческую позицию по отношению к махизму».

Политический вывод из всего этого совершенно ясен: лица, заподозренные в «сочувствии» к гносеологии, теории познания, венского ученого Э. Маха и цюрихского философа Р. Авенариуса, подлежат ввержению в подвалы Министерства государственной безопасности или заключению в какой-нибудь концлагерь. В 1938 г. лицо, слышавшее о моих спорах с Лениным в 1904 г., вероятно, рассчитывая меня уколоть, сказало: «А от большевизма вы ушли только из-за разногласия с Лениным по философским вопросам». Положим, что не только из-за этого, но если бы даже это было и так, можно ли, зная, что произошло после 1904 г., считать спор с Лениным каким-то не имеющим важности «только»? От ленинского меморандума к книге «Материализм и эмпириокритицизм» — небольшой шаг, а от

этой книги идет уже прямая, хорошо выглаженная бульдозерами дорога к государственной философии, опирающейся на ГПУ — НКВД — МГБ. Это совсем не «только»!

Иосиф Сталин

О ЛЕНИНЕ

РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ КРЕМЛЕВСКИХ КУРСАНТОВ 28 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Товарищи! Мне сказали, что у вас тут устроен вечер воспоминаний о Ленине, а я приглашен на вечер в качестве одного из докладчиков. Я полагаю, что нет необходимости представить связный доклад о деятельности Ленина. Я думаю, что было бы лучше ограничиться сообщением ряда фактов, отмечающих некоторые особенности Ленина как человека и как деятеля. Между этими фактами, может быть, и не будет внутренней связи, но это не может иметь решающего значения для того, чтобы получить общее представление о Ленине. Во всяком случае, я не имею возможности в данном случае дать вам больше того, что обещал выше.

ГОРНЫЙ ОРЕЛ

Впервые я познакомился с Лениным в 1903 г. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири, в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания «Искры», привело меня к убеждению, что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем партии, он был ее фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность и неотложные

СОДЕРЖАНИЕ

Род вождя. <i>М. Штейн</i>	6
Встречи с Лениным. <i>Н. Валентинов</i>	19
О Ленине. <i>И. Сталин</i>	85
Ленин. <i>В. Чернов</i>	94
К демократии. <i>М. Горький</i>	106
Ленин (моментальная фотография) <i>А. Куприн</i>	108
«Он — интеллектуальный аристократ». <i>Б. Рассел</i>	112
Кремлевский мечтатель. <i>Г. Уэллс</i>	117
Veni, Creator! <i>Л. Андреев</i>	128
Моя маленькая лениниана. <i>В. Ерофеев</i>	131
Читая Ленина. <i>В. Солоухин</i>	145
Блуд на крови. <i>Д. Штурман</i>	166
Мессия. <i>В. Еременко</i>	179
Ленин в судьбах России. <i>А. Авторханов</i>	196
«Отцы-основоположники» коммунистического рабства. <i>В. Кру-</i> <i>тов, Л. Верес</i>	230
Неотпетый злодей. <i>П. Паламарчук</i>	265
Кто же выстрелил в Лозанне? <i>А. Серебренников</i>	269
Взгляд со стороны. <i>Н. Васецкий</i>	273
Библиография	294